Ровесник

10 1977



РОВЕСНИК

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1962 ГОДА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ ЦК ВЛКСМ И КОМИТЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

Октябрь, 1977 год, № 10

Утром, проснувшись, люди видят, что над городом встает солнце и реют красные звезды. Звезды повсюду: на стенах домов, на бортах трамваев, на фабричных корпусах. Праздник. Этот праздничный звездопад рисуют ребята из ГДР, которых вы видите на первой странице обложки.

В материалах этого номера молодые строители газопровода Оренбург — Западная граница СССР из братских социалистических стран рассказывают о своих советских друзьях — рассказывают о родине Октября.

ХАНОЙ. В Дананге открылся вновь построенный университет. Студенческий городок занимает площадь 12,3 квадратного километра. Здесь лекционные залы, библиотека, лаборатории, общежитие, столовые, спортивные площадки и крытый плавательный бассейн. На факультетах электромашиностроения, гражданского строительства, экономики занимается около 4 тысяч студентов.

ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРЕ. Этот город, расположенный на самой границе между ГДР и ПНР, принял недавно 150 тысяч гостей, приехавших из разных уголков двух соседних стран. Шумным, веселым и радостным был проходивший здесь праздник дружбы между молодежью Польши и Германской Демократической Республики. Во время праздничной манифестации с приветствием к молодым рабочим, студентам, школьникам обратились Первый секретарь ЦК ПОРП Эдвард Герек и Генеральный секретарь ЦК СЕПГ Эрих Хонеккер. Тысячи теплых встреч, молодежные вечера, концерты с участием артистов из обеих республик еще раз подтвердили тесные дружеские связи между народами братских социалистических государств.

На снимке: молодые строители из Польши и ГДР на вечере во франкфуртском Дворце культуры «Дружба народов».

ЯУНДЕ. В Камеруне открыты четыре новых университетских центра в городах Буэа, Дуала, Дчанг, Нгаундере. В состав университетских центров согласно обнародованному декрету входят высшие и средние специальные учебные заведения. Они будут готовить квалифицированные кадры и вести научно-исследовательскую работу. Предусматривается создание комиссии по координации деятельности университетских центров и университета в Яунде. Каждый центр имеет свою специализацию: в Дуала — финансы, экономика, торговля, в Нгаундере — естественные науки, в Дчанге — сельское хозяйство, в Буэа — филология.

БЕРЛИН. В юбилейный год — год 60-летия Великого Октября — трудящиеся ГДР берут повышенные обязательства. Горняки предприятия имени Томаса Мюнцера по добыче калийных солей в Южном Гарце (Германская Демократическая Республика занимает третье место в мире после СССР и Канады по добыче калийных солей) вместе со всеми шахтерами этого района встали на ударную вахту в честь 60-летия Октября. Они выдадут сверх плана 14 300 тонн минерального сырья.

На снимке: молодежная бригада начинает новый рабочий день юбилейной вахты.





ВСЕМИРНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕЛЕГРАФ



ВСЕМИРНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕЛЕГРАФ

БОГОТА. Прогрессивная печать Колумбии озабочена положением высшего образования в стране. Как считает газета «Эспектадор», самые серьезные проблемы в этой области «связаны с главными проблемами нашего общества». Одна из них — противоречие между растущей потребностью в квалифицированных специалистах и сокращением государственных ассигнований на высшее образование. Например, средства, выделяемые государством Национальному университету, сократились в расчете на одного студента с 23 318 песо в 1971 году до 7690 песо в 1976 году, что ведет к снижению уровня преподавания и сокращением приема в университет. Кроме того, некоторые сп циалисты с дипломами покидают страну из-за неудовлетворительных условий труда и низкой оплаты.

ВЬЕНТЬЯН. В Лаосской республике ширится кампания по ликвидации неграмотности. В городах при каждом предприятии, учреждении, воинской части работают вечерние классы. Они открыты во всех без исключения провинциях страны. В сельской местности строятся новые школы силами самих учеников. За партами утром сидят дети, вечером — родители. В некоторых селениях, где еще недавно никто не умел написать свое имя, учатся все, от мала до велика. Как сообщает агентство Каосан Патет Лао, неграмотность полностью искоренена в 450 селениях провинции Луангпрабанг.

ХЕЛЬСИНКИ. Здесь прошел первый фестиваль дружбы советской и финской молодежи, посвященный 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и 60-летию провозглашения независимости Финляндии. Клуб дружбы, открытый в Хельсинки по инициативе окружных организаций Демократического союза молодежи Финляндии и Социалистического союза учащихся в период подготовки к фестивалю, продолжает свою работу, чтобы нести идеи сотрудничества в массы молодежи.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. Комитет солидарности с Сальвадором организовал кампанию протеста против власти олигархии и латифундистов, которые довели страну до полной нищеты и не останавливаются ни перед какими репрессиями. Примерно 76 процентов сальвадорцев имеют месячный доход 17 долларов или чуть больше этой суммы; половина населения неграмотна, 40 процентов трудоспособных не могут найти работу. На выборах, которые прошли в феврале этого года, среди активистов оппозиции, выступавшей против кандидатов правящей Партии национального примирения, были убитые и раненые. Полиция расстреляла антиправительственные демонстрации в Сан-Сальвадоре и Санта-Ане. Демократическая оппозиция считает, что число жертв уже превысило 1000 человек. Политика репрессий в Сальвадоре вызывает возмущение международной демократической общественности.

На снимке: манифестация протеста в Лос-Анджелесе, организованная комитетом солидарности с Сальвадором.

ГУАНТАНАМО. Здесь, в восточной части Кубы, вступил в строй крупнейший в Латинской Америке полиграфический комбинат. Он будет выпускать 20 миллионов книг в год. Из 1100 рабочих нового предприятия 600 — женщины, значительная часть — молодежь. Комбинат построен в сжатые сроки (работы начались в марте 1976 года) в основном силами молодых кубинцев с помощью строителей из ГДР. За год до революции 26 июля Куба выпускала лишь один миллион книг в год. Только один комбинат в Гуантанамо теперь будет выпускать в 20 раз больше.

Острая необходимость в новых полиграфических производственных мощностях объясняется растущим из года в год спросом на книги, газеты, журналы. До победы революции четверть населения страны старше 10 лет была неграмотна. Сейчас Куба — одна из самых образованных стран мира. В стране полностью ликвидирована неграмотность, в университетах и вузах обучается 103 тысячи студентов, два миллиона детей посещают школы.

САНТЬЯГО. Как сообщает журнал «Всемирные студенческие новости», пиночетовская хунта приступила к «обработке» несовершеннолетних чилийцев. Созданы так называемые «постоянные семинары». Эти заведения не что иное, как замаскированные концентрационные лагеря для ребят в возрасте от 1 года до 14 лет. Здесь, насильственно отняв детей у семьи, хунта предполагает воспитывать из них «настоящих фашистов». Первый такой лагерь на сто человек уже создан в южной провинции Осорно. Всего же в такие концлагеря хунта думает заключить 60 тысяч детей.

ВИМПЕРК. В этом небольшом городе на юге Чехословакии состоялась одиннадцатая традиционная встреча чехословацкой молодежи, она была посвящена 60-летию Октябрьской революции. Главное место в программе встречи занимал семинар на тему «Великая Октябрьская социалистическая революция и ее влияние на развитие мирового революционного процесса». Участники семинара прослушали доклады и выступления о достижениях народа первой страны социализма за 60 лет Советской власти, о влиянии идей Великого Октября на борьбу трудящихся всей Земли за мир и социализм сегодня, о братском сотрудничестве стран социалистического содружества, о задачах ВЛКСМ в свете решений XXV съезда КПСС. Среди лекторов были и гости из Советского Союза.

На снимке: торжественная манифестация, которую участники встречи посвятили 60-летию Октября.



МЫ ГОВОРИМ: МЫ РАСТЕМ, СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА РАСТЕТ!

В. И. ЛЕНИН

(Из «Речи о годовщине революции», произнесенной 6 ноября 1918 года на VI Всероссийском чрезвычайном съезде Советов)


Мы строим КамАЗ
Вы строите КамАЗ
Они строят КамАЗ

ОРЕНБУРГ-ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА СССР!

ТРАССА В БУДУЩЕЕ

В. ГРИГОРЬЕВ,
секретарь ЦК ВЛКСМ



СОВЕТСКИЙ СОЮЗ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛИЗМА, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА РАЗВИВАЕТ И УКРЕПЛЯЕТ ДРУЖБУ И СОТРУДНИЧЕСТВО, ТОВАРИЩЕСКУЮ ВЗАИМОПОМОЩЬ СО СТРАНАМИ СОЦИАЛИЗМА НА ОСНОВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА, АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И В МЕЖДУНАРОДНОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА.

Из проекта Конституции СССР

Вроде бы и недавно все это начиналось, и хорошо помнятся дни, когда вся гигантская трасса газопровода Оренбург — Западная граница СССР лишь на бумаге — в чертежах и эскизах — пересекала три союзные республики, 14 областей нашей страны. А сегодня уже зримо видится окончание гигантского строительства, над которым с 1975 года шефствует Ленинский комсомол. Тот, кто летом был на фестивале дружбы народов социалистических стран на этой стройке, как и тот, кто следил за ним по телевизионным и газетным репортажам, мог убедиться в этом своими глазами. Встречи и беседы, которые составили материалы настоящего номера «Ровесника», состоялись у корреспондентов журнала как раз в те дни, когда на всех участках сооружения газопровода реяли фестивальные флаги стран-участниц, когда более 7 тысяч посланцев братских союзов молодежи: Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии вместе с молодыми советскими строителями подводили первые итоги Октябрьской трудовой эстафеты, начавшейся 22 апреля, в день рождения В. И. Ленина. Трудовой ритм на строительстве газопровода настолько велик, что даже в дни фестиваля ни на минуту не прерывалась напряженная слаженная работа на каждом участке, на компрессорных и площадках

жилого строительства, в завешанных чертежами конторах Интергазстроя, в штабах ЦК ВЛКСМ, обкомах и горкомах комсомола, на далеких от трассы заводах, изготовляющих оборудование, и в институтах, разрабатывающих проектные задания, на многочисленных железнодорожных станциях и в портах Ленинграда, Одессы, Ильичевска, Николаева... Сейчас, когда этот номер «Ровесника» выходит в свет, вся стройка вместе с нашим народом готовится отметить 60-летие Великого Октября, подводит итоги выполнения новых ответственных социалистических обязательств.

Хочется напомнить, что это за стройка. Речь идет не об уникальных размерах газопровода, а о тех целях его строительства, которые во многом определяют царящую здесь атмосферу.

Известно, что в 1971—1976 годах темпы роста национального дохода стран социализма были в два с лишним раза выше, чем в капиталистических странах, а темпы роста промышленной продукции — почти втрое выше. В то время как в капиталистических странах промышленное производство в 1976 году еще не достигло предкризисного 1973 года, мир социализма неуклонно шел вперед. По предварительным оценкам, национальный доход в странах — членах СЭВ увеличился за первые два года новой пятилетки примерно на 11 процентов.

«Вместе с расцветом каждой социалистической нации, укреплением суверенитета социалистических государств, — говорил на XXV съезде КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев, — все теснее становятся их взаимосвязи, возникает все больше элементов общности в их политике, экономике, социальной жизни, происходит постепенное выравнивание уровней развития. Этот процесс постепенного сближения стран социализма вполне определенно проявляется ныне как закономерность».

Наше содружество, отличающееся от всех других известных истории союзов государств тем, что в его основе лежат отношения сотрудничества, товарищеской взаимопомощи и братской солидарности, в своем развитии неуклонно расширялось и углублялось. И такие проверенные практикой формы его, как двусторонние и многосторонние соглашения, кооперирование, до сих пор играют значительную роль. Однако новые условия и новый этап развития социалистических государств позволили им взяться за решение задач, не сравнимых по сложности и масштабности ни с какими прочими в истории деятельности стран СЭВ. Прежде всего речь идет о комплексном, системном решении топливно-энергетической и продовольственной проблем. Пока что сумма затрат на реализацию многосторонних интеграционных проектов составляет 9 миллиардов рублей, а это незначительная часть стоимости пятилетнего товарооборота между странами СЭВ. Однако важность и перспективность этой программы настолько очевидны, что уже сейчас новый период жизни СЭВ по справедливости называют «первой пятилеткой интеграции».

«Решению встающих энергетических и сырьевых проблем уже положено хорошее начало, — писал член ЦК ПОРП, председатель Исполнительного Комитета СЭВ товарищ Казимеж Ольшевски. — Причем Советский Союз, самый богатый сырьевыми ресурсами член СЭВ, проявил — это важно подчеркнуть — все понимание проблемы. Подтверждение тому мы видим в совместном осуществлении таких мероприятий, как сооружение газопровода от месторождений газа в районе Оренбурга к Западной границе СССР, как совместные капиталовложения в развитие производственных мощностей по добыче железорудного сырья на территории Советского Союза».

Вот какова эта стройка — газопровод длиною в 2600 километров. Вот каковы вкратце цели этого строительства, не знающего аналогов. И все же, как ни очевидны его выгоды, заинтересованность отдельных стран в поставках газа и их добрая воля к сотрудничеству, одними этими мотивами не объяснишь царящей на газопроводе атмосферы.

Как подчеркивал на XVI съезде профсоюзов СССР товарищ Л. И. Брежнев, тесное сотрудничество социалистических стран на строительстве газопровода Оренбург — Западная граница СССР становится органической частью нашего сознания, всей нашей жизни. Еще до начала стройки у нас были веские основания верить в то, что именно так все и произойдет: порукой тому были исторически сложившиеся отношения искренней дружбы, отношения, спаянные чистотой идеалов социализма; кровью, пролитой в войне против фашизма; потом, пролитым в труде на благо социализма; надеждами, связанными с коммунистическим будущим. Мы знали и наших друзей, не раз встречаясь с ними и у себя дома, и в их домах. И все же судьба подобных отношений — всегда дело живое, не решающееся однозначно само по себе. Короче, мы заранее знали, что на этой интеграционной стройке мы будем строить не только газопровод, но и новый тип отношений людей интеграционного мышления.

Пока что этот термин, я согласен, звучит непривычно. Но суть ведь не столько в термине, сколько в том, что все мы вместе ищем и находим в той самой «органической части нашего сознания, всей нашей жизни», — в тесном сотрудничестве.

Недавно мне попался на глаза список двадцати семи советов, которые, как полагает американский журнал «Эсквайр», могут служить правилами дружбы. При всей некоторой шутливости этих советов бросилось в глаза, что большинство их связаны с денежными вопросами («Если друг занял у вас деньги, настаивайте на их возвращении. Спрашивайте, требуйте — иначе дружбе конец») и вопросами карьеры («Друг почти никогда не может быть вашим деловым партнером или финансовым советником»). Разумеется, отношения между группами людей, тем более странами и народами, не могут быть лишь увеличенной копией личных отношений, но ведь системы-то ценностей, моральность этих отношений — они никуда не деваются от такого увеличения. Мне кажется, что личные пристрастия, личные понятия того, что хорошо, честно, благородно... в значительной степени зависят от нравственной атмосферы самого общества. Если общество ценит прежде всего успех, неважно, какой ценой добытый, силу, неважно, на что обращенную, позицию в обществе, неважно, какими способами завоеванную, то и в личных, частных отношениях человек ценит в ближнем лишь то, что им, ближним, отвоевано у других, завоевано за счет других.

Мне не раз доводилось разговаривать с молодыми строителями на всех пяти участках газопровода: не буду утверждать, что ребята при этом пытались нарисовать безоблачные картины — вопервых, в таком большом деле не может не быть трудностей, и умалчивать о них не в традициях наших дружеских отношений, а во-вторых, строителей газопровода никак не назовешь выпускниками школы дипломатических манер. Нет, это были разговоры прямые и честные, какие и пристало вести рабочим людям, искренним друзьям. Но только не случайно я много раз после этих встреч вспоминал ленинские слова: «Только в труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящими коммунистами».

Дружбу легче почувствовать, чем услышать о ней обстоятельный рассказ. В беседах с корреспондентами «Ровесника» ребята со стройки часто оказывались в затруднении: «Что мне вам рассказать про своего советского друга? Отличный он парень и друг настоящий. Вот и все, пожалуй». И все же, мне кажется, из этих более или менее обстоятельных рассказов или даже отдельных замечаний, которыми делятся в этом номере молодые строители из пяти братских стран, в этих доверительных признаниях о советских друзьях легко угадывается и сама атмосфера великой стройки.

125 важнейших народнохозяйственных объектов объявил комсомол всесоюзными ударными стройками. Особая среди них — газопровод Оренбург — Западная граница СССР. У каждого союза молодежи пяти братских стран есть свои ударные стройки. Но самым крупным шефским объектом они считают свои участки газопровода. По всей трассе идет широкое социалистическое соревнование между молодежными бригадами братских стран и советскими бригадами, проводятся совместные трудовые вахты, конкурсы профессионального мастерства. По всей трассе работают десятки клубов интернациональной дружбы, лектории, клубы по интересам, языковые кружки, проводятся спортивные соревнования, экскурсии, вечера отдыха.

Не за горами уже окончание строительства газопровода, которое каждый день вносит свою лепту в формирование таких новых, подлинно социалистических отношений, о которых товарищ Л. И. Брежнев говорил: «Мы хотим, чтобы мировая система социализма была дружной семьей народов, вместе строящих и защищающих новое общество, взаимно обогащающих друг друга опытом и знаниями, — семьей сплоченной и крепкой, в которой люди Земли видели бы прообраз будущего мирового сообщества свободных народов».

Мы находимся на пороге славной годовщины 60-летия Великого Октября. Эпохальные события октября 1917 года многое значат для нас: и потому, что они наше прошлое, и потому, что мы помним о них в настоящем, и потому, что нам нести их в будущее. Но они многое значат и для наших друзей. Прежде всего потому, что Октябрь и сделал нас друзьями.

После часа знакомства и разговоров Олек стал разрабатывать план, «что он со мной сделает», когда я приеду к нему в гости, в его Конин. Удачно было то, что Конин, хоть и мал городок, находится между Варшавой и Познанью. Это много облегчало дело — «оттуда куда хочешь легко попасть», и потому планы Олека свободно развивались на четыре стороны света. «Мы заедем к нему, потом к нему», — тыкал пальцем Олек. Получалась беспроигрышная считалочка: ко всем сидевшим вокруг стола заедем.

Потом мы хорошо поговорили о том, «что он со мной сделает», когда поедет домой через Москву и заедет ко мне. Его при этом, похоже, интересовало буквально все, что входит в необъятное понятие «Москва и москвичи». А уж в том, с какой ненасытной любознательностью он будет конкретизировать это понятие, сомневаться не приходилось — в жизни, если ситуация не по нему, он ее быстро исправлял.

Поджидая горкомовский «газик», уехавший куда-то в район, мы вышли на тенистую душную улицу и, глядя в просветы деревьев, гадали, скоро ли пойдет дождь. Он уже и начался, когда Леша заметил на дороге оранжевый куб вездехода, на радиаторе которого по-польски стояло: «Жук».

— Ну-ка, подожди минуточку... Может, ребята нас подкинут, — сказал мне Леша и замахал рукой.

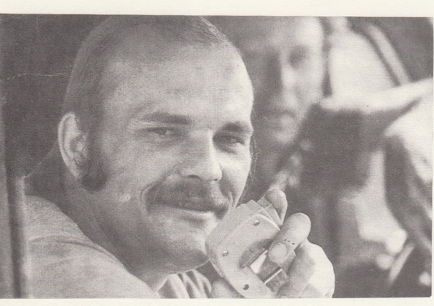
«Жук» тут же остановился, открылась задняя дверка, и высунулась веселая усатая физиономия.

— Привет! Как дела, Леша? — спросила, подмигнув, физиономия, а высунувшаяся крепкая рука — парень был в майке и джинсовой потертой куртке — щедро хлопнула Лешу по новому пиджаку.

Это и был Олек Кубица. Он неплохо, хотя иногда и затруднялся в словах, говорил по-русски, и я не сразу понял, что для его азарта и энергии такого знания досадно-таки не хватало.

низации горнорудных процессов; в Польше работал на открытом угольном разрезе; бывал в Ливии и Чехословакии в гостях у старшего брата, где тот работал на строительстве стекольных заводов. Вообще он считает себя непоседой, из любопытства во многом и сюда приехал, и по Союзу уже успел поездить — был в Тбилиси («бардзо пенькни город!») и Баку, а вот другие ездили уже в Новосибирск и на Дальний Восток — и Олек им люто завидовал. Хотя, конечно, за одну любознательность его бы на газопровод не послали: у них в Польше порядок такой — на «трубу» посылали половину специалистов из «Энергополя», предприятия, специализирующегося на трубопроводах, а половину молодых активистов с других предприятий. Тут во внимание принимали не только специальность, но и общественную работу. Он, например, в своем городе организовывал субботники, занимался культурной работой, многим чем занимался.

— Наверное, тут две причины, —



ОЛЕК КУБИЦА: «Для нас работать в Советском Союзе еще и национальная ответственность»

Такой он был веселый и энергичный человек, и ему бы работать в отделе, который американцы называют «паблик рилейшн», то есть отвечать за отношения своей фирмы с остальным миром, а потому беспрерывно быть на людях, но он работал в отделе эксплуатации, тоже хлопотном, отвечающем за парк примерно в двести разнообразных машин.

Познакомился я с Олеком (а полное — Александром) Кубицей следующим образом. Добравшись до Новопскова и разыскав знакомого по прошлогодней поездке Лешу Фомина, первого секретаря местного горкома комсомола, я попросил отвезти меня в польский городок.

Алексей за год не изменился, лицом лишь от загара стал темнее. Он все так же был уравновешен и строг костюмом и выражением лица, деловит в перечислении того, «что намечено на сегодня». Дел было пропасть, народу, как всегда, в горкоме не хватало, но он уже к этому привыкал и не удивлялся, как прежде.

— Вот человек для тебя; он, думаю, весь Новопсков знает, — сказал мне Леша, пока Олек, высунувшись чуть не по пояс, кричал направо-налево: «Привет, Галья! Дзень добрый, Васья!»

Но дождь и в самом деле начался серьезный, улицы опустели, стало темно, и вдруг ударил град. Это было бедствием, потому что Новопсков весь окружен полями, на которых последние дни дозревала невиданная, как все говорили, пшеница. Мы остановились переждать, и в машине было тихо, только градины барабанили, и все думали об одном.

На следующий день, когда Фомин появился в польском городке, ему вместо «привет» говорили: «Ну как?» «Обошлось», — отвечал он, и поляки улыбались, а Олек, совсем расставаясь с несостоявшейся бедой, снова хлопнул его по плечу: все-таки слов не хватало.

Мы уже лучше познакомились: я знал теперь, что Олек окончил шахтерский техникум по специальности меха-

сказал Олек, когда я спросил его, почему упор делался на общественную активность. — Во-первых, в любую экспедицию стараются подобрать людей покрепче, пооптимистичнее, что ли. А во-вторых, и это понятно, для нас работать в Советском Союзе еще и национальная ответственность. Сюда мы не можем послать кого угодно. Я не хвастаюсь, просто ты задал вопрос про всех нас.

...Кончается рабочий день. Со строительной базы в городок прибывают первые рабочие — те, кто занимается ремонтом или готовит раствор, и инженеры из контор. Пока они ужинают (или, может, это обед?), в городке затишье. Лишь когда они примут душ, снимут первую усталость и, переодевшись, выйдут пройтись, подышать вечерним воздухом или сходить в магазин, у ворот появляются автобусы с рабочими дальних участков — с тех, где копают тран-

шеи, варят, изолируют и укладывают трубы. Они идут неплотной толпой, все огромные, в расстегнутых рубашках и майках, покрытые пылью поверх еще час назад блестевшего пота. Они идут в ту же столовую, добродушно и даже с некоторым шиком поглядывая из-под длинных козырьков на уже отмывшихся и отутюжившихся товарищей.

— Сколько сегодня, Тадеуш?

В ответ молча поднимаются пальцы. Я знаю еще по прежним поездкам, что в такие вот длинные летние дни строители газопровода работают по десять часов — экономят время к тяжелой зиме и распутице, да и к отпуску немало при этом набегает. Те, кто на самой «трубе» — а поляки кладут все пятьсот шестьдесят километров своего участка, — в такие дни не завидуют чужим развлечениям: им бы скорей добраться до комнаты, до постели. И знаю также, что даже эти темпы не удовлетворили самих поляков: они решили сократить строительство линейной части газопровода на своем участке на десять месяцев, завершить всю сварку и укладку к первому ноября, то есть к нашему октябрьскому празднику.

Лишне говорить, что люди здесь собрались разные — какие могут быть еще; но ведь каждому из них важно и здесь ощутить товарищество — и среди своих, и среди хозяев той страны, посреди которой они очутились. И каждый это товарищество, дружбу представляет, наверное, чуть по-своему.

Тогда еще, сидя в металлическом кузове «жука», Олек Кубица все приставал к Алексею Фомину, когда, мол, снова они поедут по колхозам.

— Что, понравилось?

— Еще как!

— Ты знаешь, — прокомментировал для меня Леша, — у нашего Олека природный дар оратора. Он любит выступать перед молодежной аудиторией. Мы ведь были в школьных и студенческих отрядах.

— Что ты, Леша! Какой же это, матка боска, природный дар? Просто мне

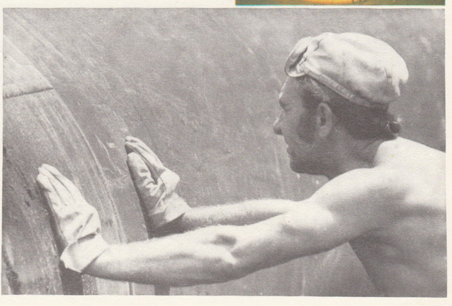




Утро, день, вечер, ночь... Только и всего. И для всех только двадцать четыре часа, не больше и не меньше. Но сутки, как известно, для каждого человека делятся своим особым образом. Для веселого они состоят из радости и печали, ленивому в них удается находить много скуки... Для этих же ребят, кладущих газопровод Оренбург — Западная граница, сутки делятся на работу и отдых. Вернее даже, как это и видно на фотографиях, на работу, работу и лишь потом отдых. Так что скучать им просто некогда. И суток им не хватает, потому что работу надо сделать как можно скорее — газ нужен всем, в том числе и Польше, и отдохнуть, разумеется, нужно, и получить удовольствие от общения с друзьями.

А в сутках по-прежнему всего лишь двадцать четыре часа. Только и всего.





интересно встречаться с людьми, разговаривать с ними.

— С чем же ты там выступал?

— О трубе рассказывал... О зиме рассказывал, о дождях. О том, что прошло все это, а вот мы остались. И труба здорово вытянулась.

— И о себе немного, — добавил Леша.

— Когда спрашивали, — пожал плечами Олек.

— Он у нас на все руки. Вот недавно стихи читал во Дворце культуры, был там у нас общий концерт. И в футбол он играл, и в волейбол. Скоро ведь у нас новые соревнования, ты помнишь, Олек?

...Как-то вечером я спросил Олека, что он думал, когда только ехал сюда.

— Думал, будет много труднее.

— Почему, собственно?

— Не знаю. Не могу точно сказать. Может, просто потому, что, когда из дома уезжаешь, всегда тревожно. Я вот заметил, что людям сентиментальным здесь труднее. Чем дальше от дома, тем эта сентиментальность больше разыгрывается...

— Но ты-то ведь человек общительный и друзей легко находишь.

— Конечно, может, и общительность помогает. Но не в ней же все дело. У нас как-то в отделе было ЧП — кончились запасные детали, а новые пока еще придут. Позвонил я Леше, через пару часов все было на месте. Или вот двадцать второго июля, наш праздник — День возрождения Польши. Так местные ребята больше нас волновались, так им хотелось, чтоб все хорошо устроилось.

— Ну а все же, Олек, что вот ты больше всего в друзьях ценишь?

— Наверное, сердечность, откровенность, готовность помочь.

— Кого же в Новопскове считаешь ты другом? Если, конечно, такой есть.

— Да вот Лешу Фомина и считаю. Комсомольского секретаря...

С Гражиной Серафин я познакомился случайно и неловко: перепутал с другой девушкой (хотя их так мало на участке), про которую говорили, что у нее есть закадычная подруга в Ворошиловграде. Гражина выясняла мою ошибку мягко и с готовностью извинить; и внешностью, и голосом, и застенчивыми манерами она тут же заставила меня вспомнить тот самый сентиментальный тип людей, которым, по наблюдениям Олека, жить вдали от дома было труднее. В этом наблюдении вполне могла быть истина: хорошо Олеку с его энергией и обаянием (я не хочу обидеть Гражину, с обаянием тут все в порядке), с его вполне оправданной уверенностью в чужой расположенности. А каково «сентиментальным»? Каково менее в себе и других уверенным людям? Да и кого, собственно, они ищут в друзья? И находят ли? Соблазн был велик, и я решил попытать удачу.

— А давно ли вы здесь, Гражина?

— Уже полтора года.

— Давно. И как вам живется?

— А я была в отпуске.

— Ну, отпуск так короток.

— Но у меня здесь есть хорошая подруга.

— В польском городке?

— Нет, в Новопскове. Нина Скороходова.

— Я не здешний.

— Она работает во Дворце культуры, ведет там, как это по-русски, кружки, где танцуют, поют... Еще она в институт хочет поступать.

— А что вам в ней так понравилось, что она стала подругой? Что вообще нравится в друзьях? Чего вы ждете от них?

— Вот это и нравится, что поет, танцует... Что веселая. И к работе подходит с сердцем, и к людям. Я дома у нее бывала, она с дочкой живет, у родителей мужа... А муж у нее умер... Они очень все дружны, и мне хорошо у них, как в своей семье.

— Ну, вот вы встречаетесь... Как вы проводите время?

— Вы, наверное, чего-то необыкновенного ждете. А мы просто гуляем, разговариваем или поем, если хочется, и мне хорошо в эти минуты, потому что я так далеко от дома встретила подругу. Я думаю, что и Нина приедет когда-нибудь ко мне в гости... А иногда я ничего не думаю; я веселюсь или грущу, как настроение бывает, и знаю, что Нина мне даже не как подруга, а как сестра...

На трассе поляки все делают сами; они и привезли опытных специалистов, и здесь их воспиталось немало. («Эти ребята теперь не потеряются, — сказал мне как-то Олек. — Они на вес золота, и в отделе кадров на каждого записан номер ботинок и одежды. Пригодится на будущих стройках».) Но хоть и делают все сами, а без совместной работы с нашими ребятами не обходится. Олек все вспоминал одного нашего парня. Довольно давно уже работал он вместе с поляками на изоляции. Порывшись в памяти, Олек еще и уточнил, что здесь, в городке, должен быть прораб, который с ним работал. Остальные или в Польшу уже вернулись, или где-нибудь на далеких участках.

— Ежи Щеперка, — представился коренастый прораб. — Юра по-вашему.

Его бригада особая, кладет трубу на самых трудных участках, переходах: пробивает ее под шоссе, под железнодорожным полотном. Пока Ежи суетился с чаем, мы поговорили о том, о сем.

— У меня уж тут ничего из хозяйства не осталось, — извинился он. — Завтра наконец уезжаю на линию, в Машевку. Я уж сколько раз ходил к директору — дай, мол, настоящую работу, чего мне в конторе киснуть. А он мне одно в ответ: боньч спокойны, вру́чишь з во́йны! Такая у нас поговорка есть: не волнуйся, мол, все образуется...

Поговорка ему, видно, мало помогала: он был беспокоен и про себя, похоже, давно махнул рукой на это вечное беспокойство внутри, зная, что оно пройдет, как только пойдет дело, а совсем, хотя и ненадолго, станет хорошо, когда дело будет как положено сделано. Он и людей особенно ценил и любил в такие минуты. Они прошли, выдержали, сделали, не подвели и дело и себя — стало быть, о них и думать и говорить стоит. Это было видно из его рассказов. Один из них был о том, как они «прошивали» железнодорожное полотно, а когда закончили, приехала советская железнодорожная комиссия.

— Смотрели, не нарушен ли уровень рельсов, не стало ли какой кривизны и сохранен ли положенный наклон — там был поворот. Проверили и говорят: «А вы трубу-то положили?» Там было все миллиметр в миллиметр! Вот тогда-то мы устроили праздник: тут же на откосе открыли шампанское. И крик стоял польский и русский!..

Ежи и сейчас, когда рассказывал, был счастлив.

Он явно был строг и требователен к людям. Не сух, не замкнут, а именно строг: далеко не каждый мог ему понравиться.

— Я вообще не знаю, смогли бы мы вот так же, как здесь, жить, случись, скажем, строить где-нибудь в Америке или Западной Европе. Да нет, какой там! Конечно, не так все было бы. У них же все бизнес и бизнес.

И Ежи при этом не имел в виду работу — бизнес. Работу он уважал. Не уважал бездушие.

— Так расскажи мне, Ежи, про того парня, — попросил я.

— Жил он в этом же доме, с вертолетчиками. Тогда здесь поблизости еще клали трубу. Зовут его Анатолий Белоус, и работал он у нас с июля по ноябрь. В прошлом году это было.

— А почему его, собственно, пригласили?

— Понимаешь, он работал на изоляции труб. Вообще мы такую работу в Польше делаем, но не с такими трубами. Тут диаметр, вес какой — семь кранов трубу поднимают! А он был опытный: в Иране, Венгрии, ну и дома, в Союзе, конечно, работал.

— А сам он откуда?

— Из Киева. Наверное, украинец.

— А лет сколько?

— Не спрашивал. Так, тридцать три — тридцать четыре. Не больше.

— Высокий?

— Да нет, средний.

— А я высокий? — спросил Олек.

— Высокий.

— Значит, и он.

— Ну ладно. Комплекция у него вроде средняя. В теле, в общем. Как Олек, — то ли съязвил, то ли механически сравнил он. — Смуглый такой, черноволосый.

— Ну да ладно. Ты мне лучше про него как про человека скажи. Ты б запомнил его, если б он как Олек был ростом, только и всего?

— Нет, не запомнил бы... С людьми он умел жить, вот что. Это первое дело. Мы, помню, работали летом весь световой день. Изоляция шла. Возвращались, мылись — и спать. Только в дождь отдыхали. Тут поэтому очень важно уметь с людьми жить. И веселый он к тому же.

— А что дальше?

— Дальше работа была. И до и раньше. Тут-то самое и есть главное. Знающий был, что и говорить. И безотказный. Как он здесь делал, так у нас все теперь и делают. Поэтому и помним, иначе, может, и забыли бы... Кстати, когда уезжал, все почти по-польски понимал.

И. ГОРЕЛОВ,
наш спец. корр.

г. Новопсков

И сторию о них можно начать так...

Недалеко от всех нас, в Болгарии, жили-были два человека. Жили совсем обыкновенно, потому что все, что окружало их, никакой необыкновенности от них не требовало, как не требует почти никогда и ни от кого из нас.

Он работал шофером, а она бухгалтером, и звали его Ангел, а ее Катя.

Они любили друг друга, и так как ничего необыкновенного от них не требовалось, то и любили они друг друга лишь заметно для других и незаметно для себя.

Но вот однажды...

Однажды он уехал. И очень далеко, и надолго.

Но так как он уезжал часто, а она уже успела привыкнуть к его отъездам, то и тут ничего не случилось. Он писал ей письма, а она отвечала ему. Но потом все перепуталось, и ей уже стало казаться, что это она пишет ему письма, а он только отвечает ей. А потом она стала ждать писем, когда ждать их было совсем нельзя — не могут же письма приходить всякий раз, когда мы хотим этого.

И тогда она решила не ждать писем.

Перед этим она, правда, долго узнавала, стараясь делать это словно невзначай, когда писала ему, как же им можно опять стать вместе, потому что теперь они уже любили друг друга совсем незаметно для других и очень заметно для себя.

А звали их все так же — его Ангел, а ее Катя, и работали они все так же — он шофером, а она бухгалтером. Только он был далеко, в Оренбурге, а она — дома, в Болгарии. И если до сих пор все вокруг них и с ними происходило как бы само собой, то теперь, чтобы стать вместе и не ждать больше писем друг от друга, кому-то из них надо было вмешаться во все это и все изменить. И изменить настолько, чтобы уж никогда нельзя было начать историю о них вялыми сказочными словами «жили-были Ангел и Катя»...

КАТЯ АНГЕЛОВА: «У меня такое чувство, что все мы — как одна большая семья»



— Я поступила на курсы крановщиков, — говорит Катя.

— Не страшно было? — спрашиваю я.

Я сижу у них в гостях в маленькой уютной комнатке в семейном общежитии для болгарских строителей на Молодежной. С нами еще их друг, тоже строитель, Петер.

— Так вернее было, — чуть пожимает плечами Катя. — Крановщики здесь нужны. И сейчас тоже.

— Но ведь высоко, — настаиваю я. — И из бухгалтеров...

Ангел сидит за столом напротив Кати и глядит на нее почему-то очень серьезным взглядом — похоже, он сейчас думает о том же самом, о чем спрашиваю я.

— Немножко, — вдруг смеется Катя, чтобы избавить всех нас от этой серьезности, а пуще всего, наверное, Ангела. — Чуть-чуть совсем... Скорее непривычно, — быстро поправляется она. — А потом даже хорошо стало. Будто все время на самолете летишь, только над одним городом, все время над одним.

Движения у нее мягкие и плавные, и я знаю, что они такие же у нее, когда она там, наверху, в своей кабинке.

Дно у кабинки прозрачное, чтобы краном можно было управлять, не высовываясь из окошка, но она любит выглядывать в окошко — ей нравится ветер, когда он несильный. Я видел это. В сильный ветер кран чуть заметно покачивается. «Лучше не думать ни о чем тогда, только о работе», — говорит Катя.

— А город вам нравится? — спрашиваю я.

— Да, нравится мне Оренбург... Особенно когда сверху на него смотришь.

Мы начинаем все вместе говорить о городе. Даже не о городе — о городах, потому что Оренбурга пока два: один старый, уходящий прямо на глазах в свое собственное прошлое, и на его место — из той же земли, только из взрытой, развороченной, — вырастает новый. И все же пока что они живут вместе, и им еще долго уживаться так. А впрочем, кому что нравится, говорим мы, потому что если в центре города пахнет теплой полынью, как в нагретой солнцем степи, то это тоже до странности приятно. Асфальт еще придет, накроет улицы, и тогда этот теплый запах отступит в степь. И может, кто-то пожалеет об этом.

— А что вы знали о городе, когда ехали сюда? — спрашиваю я Катю.

— Очень мало, — смущается она.

— Но что-то все-таки знали?

— Знаете, как получается, — справляется она со смущением. — Когда живешь далеко, то о другой стране знаешь вроде бы много. Так много, что кажется, все. А приезжаешь, и оказывается, ничего-то ты и не знаешь. Потому что приезжаешь словно не в другую страну, а в какое-то ее место, и здесь люди, и все разные...

— Но про Пугачева, конечно, слышали?

— Да. Вот про Пугачева и слышала. А еще, конечно, про Чапаева... И кино про Чапаева смотрела. А все равно здесь как-то не так, когда приехала... Земля вся другая, нет в кино этого. И Урал другой. И вообще тут уже такое знаешь, чего бы никогда не узнал, если бы не приехал...

— Катя, а как вы представляете людей, которые будут жить в ваших домах? Когда построите вы их.

Катя долго молчит, а потом говорит:

— Я утром, когда на кран прихожу, иногда сразу же работы нет или мало ее, и я вниз гляжу — не на стройку. Там из маленького домика старушка одна выходит... Всегда в одно время, в магазин, наверное. Потом дети там около этого домика гуляют. Много. Мне всегда почему-то хочется увидеть, как эта старушка возвращаться будет. Не знаю даже почему. А иногда заработаешься, или она в магазине задержится, или еще, может, куда пойдет... Тогда я даже, хотя, может, и смешно это, тревожусь немного — вернулась она или нет... Даже не тревожусь, а както жаль мне: вот, думаю, пропустила, пришла она или нет? Вот, я думаю, она будет жить в одном из домов, которые мы строим. И дети тоже.

Умолкнув, она добавляет:

— Они часто на меня глядят. Встанут и смотрят. Они же не видят, что я тоже на них смотрю...

Первым из нас перестает ожидать, что еще скажет Катя дальше, Ангел.

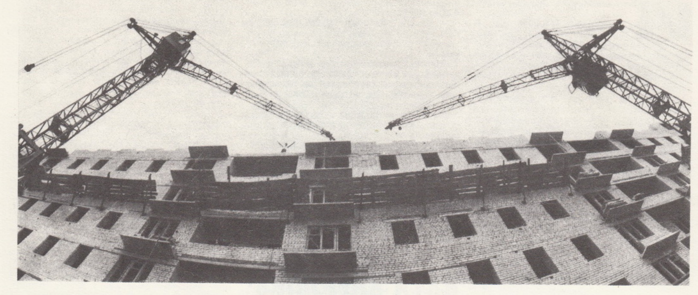
— И тут много жилья надо, — говорит он. — У нас в Болгарии тоже... А когда Катя только приехала, скажи, Катя, как мы жили? Вначале?

— Хорошо, — отвечает почему-то Петер. — Это на Гагарина, там холостяки у нас живут, — поясняет он.

И они смеются, переглядываясь. И только из реплик я понимаю, что, когда Катя приехала к Ангелу, он жил еще с семью парнями в холостяцкой комнате. Поначалу там с ними жила и Катя. Но по тому, как они со смехом вспоминают это, жить им было даже хорошо, особенно если вспомнить то наше: «в тесноте да не в обиде».

А Петер рассказывает о Темилкове, бригадире. Темилков уже много работает у нас в стране, был в Бухаре, Газли.

— А когда землетрясение, тоже там был?



— По-моему, да. Как раз Газли восстанавливал... Так у него жена русская. В Уфе познакомились. Он приехал туда на практику с нефтехимического комбината, стажером. А она студенткой была. Там и поженились. Потом сюда приехали. Семейного общежития у нас еще не было тогда, а с женой в холостяцком жить, сами понимаете... Так они у подруги ее жили, в ее однокомнатной квартире, шесть месяцев, полгода. Друзья они.

Кто о чем говорит, а строитель, наверное, должен говорить о жилье. Но о жилье ли это? То, о чем говорим мы сейчас?

— Петер, — спрашиваю я, — а ведь ты тоже вроде был в Средней Азии?

— А где я не был? В Москве был, в Киеве, Ташкенте... В Мубареке был, в Одессе, Кунграде...

Кажется, он может продолжать и дальше, но останавливается, потому что Катя и Ангел наверняка знают, где он был. Это Петер и познакомил меня с ними, и в гости привел. Я даже вначале принял его за русского, настолько хорошо по-русски говорит он. У него даже интонации московские, будто всю жизнь прожил на Арбате или, скажем, в Сокольниках.

— Почему ж тебя так носило, Петер? — спрашиваю я.

— Натура такая. Была, — уточняет он, поглядывая на Катю. — Пока не женился... А вообще-то, раз уж попал куда, надо все посмотреть, я так думаю. Ну и поглядел... А потом решил: хватит

Есть на трассе газопровода Оренбург — Западная граница СССР особый участок, на котором не роют траншей, не сваривают плети труб, но который тем не менее является полноправной частью огромной интернациональной стройки. Отсюда берет начало газопровод, под этой — оренбургской — землей таится газ, это здесь находится та самая, теперь уже легендарная буровая № 13, которая открыла его, положив начало всему огромному газопроводу. Здесь живут и работают болгарские строители: возводят жилые дома, детские сады, школы. Здесь, на границе Азии и Европы, начинается стройка, уходя через всю европейскую часть Союза на запад. Здесь — начало всему.



скитаться. Жена моя, Ямиля, из Орска, отсюда. Татарка она. А познакомились с ней в Мубареке, там ее двоюродная сестра живет. Сейчас она с сыном в Болгарии, пишет, что сын от деда уезжать не хочет. Знаешь, я — с Дуная, жена — из Орска, мои друзья-узбеки — из Каршинской степи. Через три моря, а обычаи одни. Вот мы, болгары, дома угощаем, гордимся этим, а помню, узбек кладет перед нами голову барашка на блюде и горд весь: смотри, чем могу угостить... Я из Мубарека недавно письмо получил, долго не мог понять, кто пишет: «Петро, здравствуй, это я!» А потом догадался: это же узбек, он поселился в моей квартире, я ее там всю переделал, все полочки своими руками!

А здесь, в Оренбурге, встречаю, вижу раз на базаре узбека с арбузами... «Откуда арбузы?» — «Узбекистан Карша». — «Из Карши?!» — «А ты что, там был, знаешь?» — «Я там три года работал, болгарин я, строили мы у вас». — «Сынок, иди сюда. Садись, поговорим. Не спеши. Арбуз хочешь? Самый лучший достану, тебе в сумку положу!»

Ангел и Катя слушают его, кивая, и Катя говорит:

— У меня такое чувство, что все мы — как одна большая семья.

— А что, ребята, вы сразу же так себя почувствовали на месте, уверенно?

— Ну, как сразу... — говорит серьезный Ангел. — Я вот когда в Москву приехал двадцать второго декабря, холодно. Куда пойти? В метро? По картесхеме боюсь ехать, а вдруг заблужусь... Так и успел посмотреть до оренбургского поезда всего-то Киевский и Казанский вокзалы... А Катя на самолете прилетела, так и совсем видела только Останкинскую башню, больше ничего. А вот как стал работать на машине, тут другое дело, все само собой получилось. Сразу почувствовал, где живу и с кем. Вообще шоферу-то просто понять. Я думаю, проще, чем кому-то другому, — на колесах все время, а люди вдоль дорог живут. Чуть что с тобой случись, и сразу сообразишь, куда попал и к кому. Сломался, помогли тебе случайные люди, вот и соображай дальше, почему и как это.

— И случалось?

— С кем не бывает... Хорошие люди у дорог здесь живут. И по дорогам тоже хорошие ездят, можно быть спокойным — в случае чего помогут.

— Он у меня какой был, такой и остался, — неожиданно говорит Катя. — Для него машина — самое главное.

— Конечно. После жены и детей... А что? Работать так работать. Как приехал сюда, сел на ГАЗ-51, потом на ЗИЛ, потом на КрАЗ... Мне всякую машину хочется знать до конца, так я и сказал в парке. Зато сяду, заведу, слушаю — всю ее знаю, где у нее что болит. Ребята в гараже шутят: «Ангел, ты, пока руки не испачкаешь в машинном масле, ехать не можешь».

Я смотрю, как Катя немного подтрунивает над Ангелом, и вижу, что мне рассказывали про них — как Ангел Катю в аэропорту встречал.



Он ждал ее с вечера и всю ночь, самолет задерживался. Говорили, вот-вот прилетит. Ангел искал, куда бы пристроить цветы, и не нашел. Ночь шла, и цветы вяли. Ангел смотрел на них и видел, как они тускнеют прямо на глазах. Но когда она наконец прилетела, он забыл, что они увяли. Не знаю, заметила ли это Катя.

И я думаю о том, что люди встречаются и узнают друг друга не только вдоль дорог и на дорогах. Мой знакомый болгарин Рафи рассказывал: «Знаешь, как я с одной семьей познакомился? Хотел в кино «Вий» посмотреть, ищу билет. Как раз тут подходят двое пожилых, лет по пятьдесят пять, лишний у них. Сидим рядом в кино, а он меня и спрашивает: «Откуда, с Кавказа? Из Грузии?» Я же, видишь, на грузина похож. Или на итальянца, на худой конец. «Да нет, — говорю, — болгарин я, здесь, в Ярославле, работаю». Я как раз там работал, в Ярославле. «Болгары у нас живут? — удивляется он. — Вот не знал!» И потом каждый день почти к ним. С работы мимо иду, в общежитие, — к ним. А если не зайду, то как будто мимо своего дома прошел и не зашел. А уезжал сюда, в Оренбург, дядя Саша проводил меня, все свои медали надел. Он ведь со своим братом до Берлина дошел и у нас в Болгарии был».

Друзей у людей много, думаю я, особенно если они молоды, если живут где-то долго, да еще на одном месте. Но ведь и среди них есть друзья и друзья.

И я спрашиваю об этом Катю и Ангела.

И рассказывается мне обычная человеческая история обычного человеческого знакомства. Но рассказывается она так, что, видно, дорожат ею. И еще оказывается, что, как это обычно и бывает, не все знаешь даже про то, что, кажется, знал хорошо. Оказывается, Ангел в ту ночь не один ждал Катю в аэропорту. Были еще Наташа и Петя, друзья его, никогда в жизни не видевшие Катю и не знавшие ее. И они были там всю ночь, и смотрели на те же цветы в руках Ангела. Только уехали они рано утром, так и не встретив неизвестную им Катю, — спешили на работу.

— А как Петя меня париться учил... — вспоминает сейчас Ангел. — С веником березовым. А сосед его прямо в бане на гармошке играл. Три раза голышом в снег кидались. А как помылись и вышли на улицу, я вздохнул и сказал себе: брошу курить! А себе в Болгарии, дома, русскую баню сделаю!

(Все-таки очень серьезный он человек.)

А Катя с Наташей в это время лепили пельмени.

— Они пришли такие чистые, — вспоминает Катя, — сели в одних брюках за стол.

И я не знаю, то ли это удачная неловкость языка — что «они пришли такие чистые», или она сказала то, что хотела.

Катя, видно, устала. Вчера они с Ангелом ездили в Ташлу. Это дальше по трассе на запад. До Ташлы отсюда почти двести километров. И все равно они поехали туда — там был концерт нашей и болгарской самодеятельности. И мне давно пора бы вспомнить, что нынешней ночью они вернулись с концерта в четыре утра. (Наверное, всетаки мало на свете концертов, с которых возвращаются на рассвете.)

И мне уже надо торопиться к своему самолету.

Мы прощаемся.

Внизу, в вестибюле, вижу еще не взятые письма. Из Архангельска, Пловдива, Коми, Софии, Бухары... Тут же объявление: «Нужны комбайнеры на уборку хлеба. Хороший заработок. Обращаться в контору». В общежитии живут не только болгары, наши тоже. Кого это приглашают, их? Или болгар тоже?

А на окраине города вижу последнее, что видит и болгарин, уезжающий из Оренбурга, — дома, им самим построенные.

А вот и последнее, на что он обратит внимание в здании аэропорта в ожидании самолета, когда время идет так медленно. Мозаику делали молодые художники из Тбилиси. Кошка, печь, дом, цветок, женщина и мужчина, ладья, ложка и хлеб, корова, конь, сердце и солнце — символы земли. И человек с рожком, зовущий домой.

А потом эта хлебная и совсем нечужая ему земля попрощается с ним.

В. ШЕСТАКОВ,
наш спец. корр.

г. Оренбург





ЙОЗЕФ ГРУБОНЬ: «С вами интересно жить, хорошо получается жить»

Мы разговариваем с ним в саду на краю Антиповки. Сад старый, но неумирающий. Еще не упали лишние яблоки с яблонь — те самые, которые дерево не сможет выкормить и, чувствуя это, бросает их в траву. Они обманчиво красные.

— Не ешь их, — говорит Йозеф, — печенка будет болеть.

— Знаешь, да?

— Знаю.

Неподалеку лежит Сергей — азербайджанец с совершенно цыганской головой, она торчит из травы, и я вижу ее. Сергей — каменщик, приехал в совхоз с бригадой строителей класть новую кошару. Сегодня он будет делать шашлык: у него все готово, нет только дров — дрова привезут чехи — кругом степь, и не найти щепки. У совхозного зоотехника сегодня день рождения, а Сергей его друг. Когда они успели подружиться, не знаю — Сергей недавно приехал, но в разгаре вечера он будет шептать мне с южной горячностью: «Это самый лучший человек, я жизнь за него отдам». И я даже не улыбнусь в темноте. Гостей будет много...

— А все-таки у нас в языке немножко другие «ты» и «вы», — возвращается Йозеф к вчерашнему разговору.

Вчера он хорошо говорил про «ты». Говорил, что уже в самом нашем языке спрятан тот зыбкий переход из одних отношений в другие, который сам по себе никого и ни к чему не обязывает, но сложи вы себя удачно друг с другом — и перешли, не сумели — и ваша вина.

Сейчас Йозеф вдруг задумывается вслух:

— Интересно, сколько у вас людей в стране на «ты» друг с другом?

Кажется, такое может прийти в голову только иностранцу.

— А мы как будем? — спрашиваю я. Мы с ним до сих пор путаемся в этом переходе.

Вместо ответа он предлагает:

— Хочешь, про первую свою встречу с советским человеком расскажу?

— Давай.

— Это было давно, и его я и не помню, руку только помню... Большая рука, она рядом с моим лицом, и моя рука в ней. Странно, ничего другого не помню: нас будто нет совсем — ни его, ни меня не осталось в памяти — только руки... Ты знаешь, — поворачивается Йозеф ко мне, — взрослые никогда не думают, что когда они ведут крохотного ребенка, то их рука у него рядом с лицом. И весь взрослый в одной этой руке. Дети почти и не глядят ни на что — только на эту руку — или глядят, но ничего другого не видят. И все угадывают по ней: куда идти, и быстро, медленно ли, и зачем. Даже что говорить, и то угадывают. Или почему сейчас надо молчать... Ты помнишь это?

Он лежит в траве не шевелясь, и я не хочу ему отвечать. Какая разница, помню я это или нет, все равно он рассказывает хорошо, я знаю это.

Он работает здесь прорабом, строит больницу, но еще ведет дневник. Дома он будет писать книгу, так он думает, и это начатое им дело уже беспокоит и тревожит его.

— Сколько ж тебе было? — спрашиваю я.

— Два года, — смотрит на облака Йозеф. — Война была. Пришли ваши. Они шли и шли через наш городок... Тут я путаю, что я на самом деле помню, а что мне потом рассказывали. Не знаю, помню я, как они шли и шли, или это уже из чужой памяти. Точно помню одно: я увидел лошадь. Никогда я не видел таких лошадей. Не знаю, откуда они у вас, такие маленькие лошади, игрушечные совсем. Я увидел ее и, пораженный, пошел за ней. Это было как во сне. Почему я оказался один на улице, почему рядом не было матери, не знаю. Но я шел и шел. Наверное, я не мог уже жить без этой маленькой лошади. Ее-то я тоже помню. Она шла, не мотая головой, точно катилась. Везла она что-то или нет, не помню. Наверное, везла. Тогда все что-нибудь везли

или несли. А потом сразу помню ту руку. И мне стало удобно идти за лошадью... Может, он был возница, тот солдат, не знаю. Только мы так и шли. Солдат наверняка понял, что я заблудился, а отдать меня на пустой дороге было некому. И он не бросил меня. А что я мог ему сказать — двухлетний? И потом мне хорошо было так идти.

Наверное, он искал мою мать, потому что на третьи сутки она нашла меня и мы ушли с ней домой. Но двое суток я шел. Наверное, я где-то спал, что-то ел, ничего не помню. Говорил этот солдат со мной? Или он молчал все это время и думал о своем? Нет, должно быть, говорил... А может, и не один он был. Наверняка не один. А рука осталась как от одного в моей памяти.

Йозеф высокий — настолько, что даже сутулится, будто всю жизнь ему приходилось ходить в дверях, которые были ему низки, и вот теперь и под небом он ходит склонившись, словно в тех дверях. У него уже девятилетний сын, и невозможно представить его тем маленьким человечком, который идет в его памяти за лошадью.

Я слушаю его и думаю о том, что попадает в нашу память и остается в ней, а что проходит мимо, а мы-то думаем, останется. Вот хоть этот сад. Уже два года, как чехи живут рядом с ним. Деревня небольшая, и, чтобы попасть на Волгу, надо пройти ее насквозь, и на тебя будут смотреть изо всех окон. Пройдешь так несколько раз, и тебя будут знать все. Тут все и знают всех. Прохоров, директор здешнего совхоза, все думал, как бы отдарить чехов, и дело даже не в том, что они охотно помогают совхозу на уборке и никогда не откажут в бульдозере, просто само соседство это стало настолько привычным и долгим, что надо было что-то сделать в благодарность за эту совместную жизнь. И он придумал подарить им сад. В чешском городке много ребят, родившихся в деревне, а работают они здесь только на машинах или на стройке, и подарок пришелся кстати — очень уж давно хотелось им покопаться в земле или просто походить с лопатой вокруг дерева, которое можно считать своим. Потом в саду нашлось место и для большого деревянного стола, и для навеса — на случай, если пойдет дождь. И теперь все праздники проходят здесь.

Будет ли в будущей книге Йозефа этот сад? Он тоже, я думаю, пока не знает. Уедет и поймет, и, может, он всплывет в его памяти, этот сад, вот таким июньским, как сейчас, и в нем будут падать в траву яблоки.

— Йозеф, — спрашиваю я, — вот уедут ваши... Это как-нибудь пригодится им, что они были здесь?

— Много ребят уже язык хорошо знают. Хотят русским заниматься, в институт поступать.

— Будут менять профессию? Тут-то они строители...

— Некоторые решились.

— А тебе как это пригодится? То, что ты здесь?

— По специальности пригодится. У вас техническая литература хорошая, по строительству, ее читать надо... Я уже хорошо читаю, все понимаю, пишу только, не дай бог увидеть, ошибки — кошмар, просто кошмар! Кстати, у вас зимой много строят, как нигде, наверное. Такого опыта зимнего строительства у нас нет. Но у нас сейчас тоже много строят, и не успеваем за лето, теперь начали и зимой, а опыта такого мало. Это мне тоже пригодится.

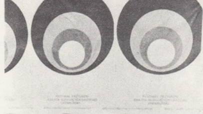
— А как, — спрашиваю я, — легче строить здесь или там, дома? Если б то же самое делать, что и тут: жилые дома, больницу?

— Конечно, здесь сложней. Тут и проекты ваши, и вся документация, и технадзор ваш. И потом сдавать все вам. Вначале проблемы были. Мы у себя, например, из кирпича уже почти не кладем ничего, блоки в основном, с облицовкой. А тут кирпич... Наши каменщики такую кладку подзабыли. Начали класть, плохо выходит. Тот же раствор в кладке — у вас положено по ГОСТу, один сантиметр чтоб был раствора между кирпичами. Никак мы поначалу не могли его точно выдерживать. Потом научились. И еще один анекдот вначале вышел...

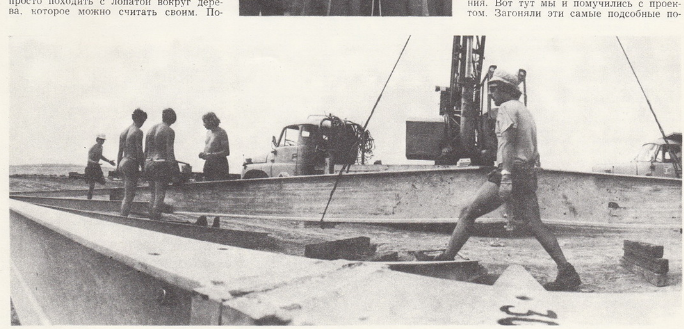
— Расскажи.

— Когда у нас проект составляется, то это уже все — не то что на метр не вылезешь в сторону, а даже когда на полметра каких-то расшириться, так это уже разрешение нужно чуть ли не от министра. Недаром у нас вся архитектура как бы вертикальная, и все эти знаменитые подвалы, подвальчики — все это идет по одной линии — снизу вверх, все подсобные помещения. И все это, кроме всего прочего, еще и экономия места, земли. Так вот, у больницы тоже должны быть подсобные помещения. Вот тут мы и помучились с проектом. Загоняли эти самые подсобные по-

Есть фотографии «на память», а есть такие, которые сами по себе останутся памятью и, может быть, навсегда. На таких снимках люди не позируют, здесь работают, не отвлекаясь, как эти чехословацкие строители в порту. На трассу пришел новый груз, а время — больше, чем деньги.







мещения и между зданиями, и под них — и никак не выходило. Не хватает, и все! И не каких-то полметра не хватает — десять! С этим уже ничего не поделаешь. В общем, как мы ни крутили, нет у нас этих десяти метров, и не решить нам ничего самим. Поехали в Камышин. Приехали, а сами помалкиваем — не знаем, как и подступиться. Другое все уже обсудили, а про это и заикнуться боимся. Наконец кто-то все же решился: еще, мол, один вопрос есть, но очень сложный: нельзя ли как к проекту прибавить немного?.. «Сколько?» — архитектор ваш спрашивает. «К сожалению, много». — «Так сколько же?» — «Десять метров». — «Ну, в Антиповке, — говорит, — места еще много, под больницу десять метров найдется».

Йозеф смеется, а потом укоряет меня:

— Не смешно тебе... Ты даже не удивлен. Для тебя эта история наша с десятью метрами ни о чем не говорит. А вот я уверен, что вся ваша широта — натура ваша — от вашей земли. Сравни вашу страну и нашу.

Он вскидывается на траве и подпирает голову рукой.

— Прохоров вот сад этот подарил. Совхоз, конечно. Да и как подарил, слово просто такое широкое, попросту назвали его «садом дружбы», только и всего. И ничего вроде и не случилось: сад он и есть сад, и стоит он так же, как стоял, и стоять будет, и мы уедем, он будет стоять. И всего-то случилось, что ребятам нашим разрешили приходить сюда после работы и работать. Это уже уставшим людям. И тут этот подарок — иди еще работай. Если хочешь, конечно. А получилось хорошо. Этот навес и столы мы вначале даже и делать как-то не решались, все в толк не могли взять, что это теперь и наше тоже, и нам здесь жить — ходить, работать, подрезать, копать. Просто жить здесь, понимаешь?

Йозеф ложится в траву, словно уходит.

Сергей уже нервничает: скоро соберутся гости, а для шашлыка нужны не дрова, а угли — и хорошие, и много.

Йозеф успокаивает его:

— Будут дрова. — Он опять выныривает из травы и улыбается:

— В Камышине буденовку искал сыну. Все говорили, есть, есть, а я пошел — и нету. Все магазины обегал. А сыну уже обещал ее. Он тоже знает буденовку, однажды видел. Представляешь, послал бы я ему ее, он бы как король был среди своих товарищей... Нету! В контору к себе пришел, а там, в Камышине, все вместе мы, и ваши и наши. Тут как раз к одной сотруднице — местной — сын пришел, и как раз в буденовке. И я что-то смотрю на него, он смутился — и возраст такой же, как у моего, и вроде похож даже. Ему, правда, лет одиннадцать — побольше, чем моему. Да мне теперь все дети почти, если по возрасту схожи, моего напоминают. А она, мать его, как раз и спрашивает меня, что, мол, купил, а еще, а еще? Я и скажи про буденовку. Смотрю, подходит она к сыну, снимает с него эту буденовку. «Подойдет?» — говорит. «Должна», — говорю, «Бери, бери, — дает мне. — Я еще куплю, у нас часто бывают, а тебе некогда искать ходить». Вот так взять — и на тебе! И неловко, и приятно... Все вместе. Мы и знакомы-то с этой женщиной едва.

Потом он опять поднимается из травы:

— А раз в гости пришел к одному инженеру, вместе в Камышине работали. Ну, он, конечно, показывает мне дом. Ходим, смотрим. Картины у него на стене. Я, признаться, в картинах ничего не понимаю, просто совсем. А одна хорошая картина... Пейзаж — деревья. Тихо, тихо на ней — ничего не происходит в этих деревьях, и даже людей вроде не существует нигде на земле, так тихо. «Хорошая», — говорю. Сидели потом, разговаривали. Я напротив как раз картины сидел, все смотрел на нее. Посмотришь, и как-то спокойно становится в тебе, как на картине той, и будто и тебя тоже нет нигде, в себе даже нет.

Потом уходить, а хозяин вдруг подходит к картине и снимает ее: «Возьмешь, — говорит. — Дарю». Да и говорит так, что видно, он уже все решил давно, и за меня тоже. «Понравилась, вижу, тебе, — говорит. — Бери!» Я еще когда сюда ехал, к вам, — продолжает Йозеф, — я ведь первый раз в жизни к вам попал, так мне говорили: нет ничего интересней русского человека. Не то что именно русского, конечно. Просто вашего. Теперь понимаю, почему так говорили. С вами интересно жить, хорошо получается жить.

— Почему?

— Потому что искренние ваши люди. С ними обо всем можно говорить. Ты знаешь, любая неоткровенность, даже очень красиво придуманная, становится в конце концов заметной. Только искренность не бывает однообразной.

— А тебе не приходилось здесь хитрить ни разу? По работе ли, так?

— Нет. Только разве с детьми. Но это обычное лукавство взрослых. Оно простительно. Хотя нет, — вдруг вспоминает он, — раз хитрил. Вернее, не хитрил даже, а как это сказать... Зуб у меня болел. Сильно. Ночью еще терпел, до обеда додержался кое-как, и на машину, и в Камышин. Пришел, народу как раз почти не было, уже в кресло сел. А у вас немного не так, как у нас: у нас в кабинете одно кресло, а тут несколько, и потом рядом еще какая-то комнатка, для ожидания, наверное, и там телевизор. Сижу я, сжался, жду и тут слышу: Карел Готт поет по телевизору. Вообще-то я его люблю, но о какой тут любви говорить, если зуб болит. А врач услышала тоже, молодая... «Ах, — говорит, — так это ж ваш Карел поет!» Наш, думаю, наш, только сейчас он мне совсем ни к чему. «Вам надо послушать, — говорит, — вы ж, наверное, хотите. Соскучились, да?» Не надо, думаю, не очень я соскучился, да и отсюда его хорошо слышно. «Идите ж! Идите скорей! — зовет она. — Правда же, прекрасно поет?» Ну я и пошел. И полчаса его слушал. Так что у меня с ним теперь особые отношения.

А себе, кстати, потом говорил: «А не хитри, не хитри, говори что думаешь!» Ведь врач-то правду говорила, то, что она думала, а я смолчал, кивал сидел. А надо вслух все говорить, прямо, как ваши. А с другой стороны, удивительно мне было: как же она хорошо настаивала, как ей хотелось, чтобы я не упустил Карела... «Ваш же», — говорит!

Приехали дрова, и обрадованный Сергей раскочегарил огромный костер. Гости собирались в саду, не было только самого именинника. Мы стали говорить с Йозефом о том, что же здесь сегодня будет.

— Не знаю, как у вас, — сказал Йозеф, — а у нас после работы о работе говорят. И здесь так будет, — обещал он. — У нас на стройке плиты остались лишние, и кирпича немного. Мы их уже продали совхозу. То им из Камышина то же самое везти да еще искать там, в Камышине, а тут рядом. Об этом наверняка и говорить будем.

Так оно и случилось. Меж поздравлениями говорили, как лучше подъехать за плитами, чем лучше их грузить, и сколько их, и какие они. Только еще один рассказ услышал я от Йозефа: о том, как он воду чистую добывал.

— Собрались мы на берегу. Решили рыбы поджарить. А то что это, у реки живем, а я ни разу не пробовал, как это делается. Рыбу, конечно, поймали у рыбаков. И тут оказывается, что никто из нас с рыбой дела не имел — вот так, чтоб самому ее приготовить. Разожгли костер. Ни масла нет, ничего, соль только, по-моему, была. Посолили мы рыбу и на костер. А день белый, видят все, как мы стараемся. И подходит одна девушка. «Что ж это вы такое делаете? — ужаснулась. — Да разве так можно?!» Наверное, мы и впрямь выглядели для нее странно. Стоим, смотрим ей в рот, а к рыбе больше не притрагиваемся. И неловко так, и глядеть на нее приятно, как она ругает нас. Так это ее огорчает все — бестолковость наша. Сбегала она домой к себе, принесла масло, нож. Показала, как чистить, потом говорит — и почему-то мне: «А вы, — говорит, — вот вам стакан, — рыбу жарят, оказывается, еще и с водой, — и плывите, — говорит, — подальше, за прибой, чистой чтобы набрать...»

Ух как я плыл! Там метров шесть, перед самым берегом, мутная вода, но я плыву и думаю: нет, дальше чище, чистой надо набрать... Километра два там Волга шириной, а то и больше. Нет, думаю, дальше надо плыть! Никогда я так не плавал, кажется, в жизни... И как я не утонул, не знаю. Я весь этот стакан с середины Волги нес над головой. Приплыл, ну, думаю, сейчас она меня как героя... А она такая деловая, все уж у нее почти готово. «Где ж это вы с водой были? — спрашивает. — А чистую принесли?» Да я б еще два километра проплыл, только чтоб услышать такое!

Возле нашего костра разговоры о кошаре. Сережа с чехом договаривается: завтра им на кошаре позарез нужна хорошая тачка, и тачка, я слышу, завтра им будет. А плиты будут возить с утра. Времени мало, а кошару задумали большую — на тысячу голов.

Костер разделяет нас с Йозефом. Но проходит время, и мы как-то незаметно опять сходимся с ним. Курим.

— А я все-таки напишу книгу, — говорит Йозеф, глядя поверх огня.

— Начни с той лошади, с руки того солдата, — говорю я. И вспоминаю, как он шел два дня по освобожденной от фашистов земле.

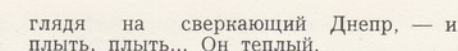
Йозеф молчит. Это его книга.

Но потом он начинает говорить, и я не знаю, о книге это или просто о том, что может стать ею: «Сад там будет этот... этот костер... больница наша... Сережа, идущий дрова... яблоня вон та», — глядит он сквозь огонь.

— Человек живет с людьми, и хорошо, если ему хорошо с ними, — говорит он. — Вот как мне здесь.

Ю. ЛЕКСИН,
наш спец. корр.

с. Антиповка



ЗИБИЛЛЕ ГОТТХАРДТ: «Советские принципы — это одновременно и наши»

Кафе называется «Чайка», оно на высоком берегу Днепра. Мы с Зибилле сидим на втором этаже на открытой террасе у самых перил. Внизу под откосом деревья бьют вверх зелеными фонтанами листьев. Они и загораживают ближний берег.

— За третьего собеседника, — предлагает Зибилле.

— За Днепр? — догадываюсь я.

Она кивает. Потом говорит о том, что есть такая «комнатная необходимость» — смотреть в беседе друг на друга, и это очень связывает, особенно при недолгом знакомстве.

— А сейчас смотрите: мы глядим на Днепр, и вроде бы так и надо.

— Это ваша будущая ностальгия говорит в вас, Зибилле.

— Может быть, — соглашается она.

Конечно, я слышал, что, едва приехав в Черкассы, немецкие строители газопровода были очарованы Днепром, но о «третьем собеседнике» слышу впервые. Это уже не просто очарованность, а нечто большее.

Зибилле уезжает в ноябре, и для нее началось уже ее долгое прощанье. В прощанье этом есть поразительное смещение времен, когда настоящее воспринимается сразу и прошедшим и попадает одновременно в наш взгляд и в нашу память, и это переживание одного и того же дважды вызывает безотчетную «дрожь и радость». Так сказала Зибилле.

— Даже страшно иногда становится почему-то, — говорит она. — Чуть-чуть...

— Прощаться? Вы не преувеличиваете?

— Нет, — едва заметно покачивает она головой.

Другого берега не видно, потому что Днепр разливается здесь на четырнадцать километров, и мне, думаю я вслух, никогда не доплыть до него.

— Я могу, — говорит Зибилле. — Выплыть утром, — щурит она глаза, глядя на сверкающий Днепр, — и плыть, плыть... Он теплый.

Я вижу, как утром, в безлюдье, под не зацветшим еще голубым цветом небом, она входит в воду... На светлом песке рядом с расколотыми ракушками и выгоревшими, вымытыми до белизны обломками дерева остаются узкие следы ее ступней.

...Мать хотела, чтобы Зибилле была музыкантом. Никто в их роду не играл, и это была мечта матери, странная, так и не понятая дочерью фантазия. Кажется, мать тоже не отдавала отчета в своей мечте, но фантазия ее была сильной, и ее долго не удавалось размыть. Зибилле играла. Она играла на флейте, не чувствуя удивления перед звуками, которые извлекали из флейты ее губы и пальцы. Звуки умирали, едва оторвавшись от флейты, может быть, даже в ней, в ее темной цилиндрической пустоте, наверное, даже на губах девочки, которую мать звала зайчиком. Но матери эти звуки казались живыми, и Зибилле еще долго извлекала их, уже твердо зная, что никогда в жизни не будет играть.

Ее фамилия Готтхардт — и это значит «твердый бог». Уходя от прямого смысла (а впрочем, уходя ли?) в ассоциации, окружающие почти всякую немецкую фамилию, это «твердый, как бог», и еще дальше — «божественно твердая». И если есть говорящие фамилии, кроме как в комедиях классицизма, то эта говорит полуправду — или она полуговорящая. У хозяйки ее есть — и, может быть, столь же «божественная» — мягкость, но иногда она обрывается в ней, как обрывается нить, натянутая нечуткой рукой. Так однажды Зибилле отложила флейту, аккуратно похоронив ее в черном футляре, в мягкой, едва потертой красноте бархата. Непотускневший бархат светился, стараясь быть запомненным девочкой (и это ему удалось), но мать поняла, что воскресения не будет.

Начался спорт — неистовый, такой может нахлынуть на человека, которому незаслуженно, но были запрещены все движения, которые хотя бы ненароком не вели к музыке. Даже воспоминания не возвращали ее теперь к флейте. Зибилле входила в воду, как входит в нее рыба — уже задыхавшаяся, долго лежавшая на песке и только чуявшая, что вода вот она, рядом. Вода вытянула ее тело, потому что то движение, с которым юный человек прыгает в воду, — вытянувшись в струну и напрягшись, сберегалось в ней и накапливалось до той самой поры, пока не стало ее обычным состоянием.

Потом прошел и спорт, Зибилле настигала взрослость, но то невыразимое превращение физического состояния в чувство — как та ее радость от прыжка в воду — запомнилось и осталось в ней. Кстати, она вообще, похоже, жила чувством и была убеждена, что лишь пережитое человеком может стать его мыслью. Поэтому для нее и не существовало незначительности событий; даже из Пушкина, когда ее просили об этом, она вспоминала сначала «Я помню чудное мгновенье», — мгновенье...

Так она рассказывала о том, как лежала под солнцем на берегу Днепра. Жары не было, было лишь тепло, и ощущение безопасности жизни и существования этой жизни только для нее, столь редкое и потом невосстановимое, покуда оно не захочет прийти само, не покидало ее. И тут подошел он.

— Красивый?

— Не помню... Обыкновенный.

Слова его тоже были обыкновенными — такие обычно и не остаются в памяти, но ощущение значимости всего происходящего уже жило в ней.

— Он сказал, что умеет хорошо плавать... В городе, говорит, чуть ли не лучше всех плавает.

— И вы поплыли, да?

— Да, — Зибилле говорила об этом как о чем-то не то что скверном, скорее удивление слышалось, и еще смущенность. — Я еще на берегу поняла, что он говорит неправду, я только обогнала его и, не оборачиваясь, плыла и плыла... Ну вот скажите, зачем он обманывал? Зачем так хвастаться?

— Что вы, Зибилле! Это ж обыкновенная игра... Хочется человеку казаться лучше перед девушкой. Да он мог и совсем не уметь плавать...

— Потом, на берегу, он сказал, что очень хорошо бегает.

— И вы бегали?

— Нет, — смеется Зибилле.

...Наша страна появлялась в ней, как появляются и остаются в памяти ребенка картинки для раскрашивания. Вначале был только контур, и надо было заглядывать на левую сторону книжки, где художник предлагал свой вариант для раскрашивания. Вариант был хорош и завершен, но принадлежал не ей. Зибилле же хотелось своего. Язык не давался ей. Учитель (она помнит двух учителей русского) мучил их грамматикой. Надо было писать диктанты и после каждого существительного непременно ставить падеж. Это она особенно помнит. У Зибилле в тетради были одни пятерки — у них в школе все наоборот, и пятерка — это «пара».

— Как вы представляете своего мужа, Зибилле?

— Он должен быть коммунист.

— Непременно так?
— Да.
— А если просто хороший человек?
— Нет. Это должен быть человек, который борется за добро сейчас. Именно сейчас, для нас, а не когда-то в будущем. Все-таки коммунист.
— А еще?
— Он должен любить меня... А главное, я теперь поняла, я должна тоже любить его. У меня был друг — там, в ГДР... Он любил меня, а я его нет. Недавно мне его мама показывала фотографию его новой подруги — точная копия меня. Наверное, немножко моложе только.

...Вторая учительница отличалась уникальной памятью. Русский язык был для нее не только языком, на котором говорят русские и который она знала в совершенстве; каждый еще не завершенный русский в голове каждого из ее учеников существовал для нее отдельно и был памятен ей. Скрыть что-то от нее было невозможно — уникальность ее памяти как раз и заключалась в том, что она знала русскую лексику каждого из своих учеников и могла в течение нескольких лет преследовать любого из них, напоминая ему о прошлом незнании какого-то одного слова. В конце концов слово это становилось для всех словно бы единственно существующим во всем языке, и это было бы убогостью, если бы она с такой же старательностью и последовательностью не предъявляла «счет слов» каждому, и тогда все эти слова становились общим достоянием всех, как подобным достоянием становится хорошо изложенная мысль. Так Зибилле копила русские слова, зная уже, что употребит их.

— А как вы стали комсомольским секретарем? Вернее, я хотел спросить, почему избрали именно вас? Вы ожидали этого?

— Не знаю. Немного ожидала, конечно. Хорошо язык знаю. А работа вы же знаете какая. Ни дня без разговоров, все время что-нибудь совместное: надо обговорить условия соревнования с вашими ребятами, надо куда-нибудь поехать в выходной или собраться в кафе вместе. Да вот буквально вчера договаривались, чтобы для наших ребят кто-нибудь толково рассказал о проекте новой Конституции.
— Договорились?
— Да. Вы, конечно, знаете, что мы еще дома, готовясь ехать сюда работать, обязательно знакомимся с вашим трудовым законодательством. Да и не только трудовым. Вообще, по-моему, законы страны, в которой живешь, надо знать и уважать. А нам, признаться, и просто это делать — советские принципы — это одновременно и наши. Сейчас эти принципы, мне кажется, с особой четкостью изложены в проекте новой Конституции. Газеты пишут о проекте как об Основном Законе вашей жизни, а я думаю, что это и наш закон. Разумеется, не только потому, что сейчас мы живем и работаем здесь — само дело, которое мы делаем, находясь у вас в стране или у себя дома, оно общее.

— Выходит, легко вам работать со здешними комсомольскими коллективами?

— Да. Еще ни разу не было, чтобы не пошли нам в чем-то навстречу или не помогли.

— А кто изобретательней, Зибилле, в том, чтобы придумать что-то совместное, вы или наши?
— Ваши все-таки.
— Потому что вы в гостях, а они дома?
— Не думаю, что только поэтому. Хотя и поэтому тоже. Вот вы спросили, почему именно меня секретарем выбрали... Наверное, еще и потому, что характер у меня легкий, общительный, что называется. Вот этой легкости в ваших больше, поэтому и изобретательности побольше.

...В Воронеже есть семья, которую Зибилле любит. И там любят ее. И потому, что это так, потому, что любовь эта взаимна, Зибилле вспоминает свой воронежский год жизни воспоминанием нежным и грустным. Она приехала туда, проучившись два года в педагогическом институте Дрездена. Это была практика. Жить можно было в общежитии, но случилось так, что Зибилле подружилась с сокурсницей и пошла к ней в семью. Отец подруги работал тяжело и много — водил тепловоз, и его они, дети, — он так и звал их всех — детьми, и своих двух дочерей, и Зибилле, — видели мало. Чаще всего по утрам, когда все расходились работать и тетя Вера, его жена, давала им деньги на обед. Детям давалось ровно по рублю, никогда больше и никогда меньше, ему же — отцу — давали два. Все стипендии и получка отца отдавались тете Вере, стипендия Зибилле была больше, она иностранка, но она тоже всю ее приносила в семью. Потом, когда через год она уезжала, тетя Вера с точностью до копейки вручила Зибилле все, что накопилось из ее денег, и можно было купить домой хорошие подарки, почти какие хотелось.

Семья эта незаметно превращалась для нее во что-то обыкновенное, совершенно привычное и свое. К тому же отца у Зибилле не было, а здесь получалось все так ненавязчиво и просто, что ей казалось порой, что вот же он, есть.

Странно сказать, но мать Зибилле стала даже ревновать ее немного к этой семье и вообще ко всему окружающему ее, потому что, однажды приехав, увидела вдруг, как в ее дочери тают, почти расплываются воспоминания о друзьях, оставленных дома. Разумеется, мать хотела, чтобы ее дочери вдали от родины было хорошо и уютно, но степень этой хорошести и уюта вдруг растревожила ее. А может, это было и не совсем так, и тревожило ее лишь то, что дочь, как непременно случается со всеми повзрослевшими детьми, отдалялась от нее.

— Зибилле, расскажите ваш обычный день... Ну, скажем, понедельник.

— Утром я еду на тот дом в городе. Мы там строим. Никакой жесткой программы, всякий раз по-разному — все зависит от того, что было вчера. Бывает, кого-то надо поругать, кого-то похвалить. Все бывает, вы же знаете.
— И вам не тяжело ругать? Ведь вы, наверное, не по обязанности это делаете. Вы уверены в своей правоте? Ну, скажем, в том, что вы не сделаете того, за что ругаете.
— И не сделаю.
— Уверены?
— Думаю, да.
— И потом ваш день?
— Возвращаюсь в городок. Да, заезжаю в райком комсомола. Обсуждаем свои новости.

— И какая она была последней — ваша новость?
— Ну, если из действительно интересного, то вот... На стройке мы, комсомольцы, решили провести один день без начальства. То есть без мастера, без бригадира, без никого — всё мы, все их обязанности сами. Потому что мастер, например, говорит, что план был недовыполнен, потому что не было каких-то материалов. И все уважительно и понятно. Ну а если самим взяться? Все продумать, ничего не упустить?
— Удалось?
— Перевыполнили даже.
— Вы об этом рассказали нашим?
— Конечно. Да они просто знали про этот день. Заранее.
— И потом ваш день?
— Приезжаю в городок и два часа читаю почту. Прочесть надо все — газеты, журналы, свою корреспонденцию, ваши газеты тоже.
— И?
— А в четыре часа у нас собрание. Партийное.
— Каждый понедельник?
— Да.
— Зибилле, каждый день вы с людьми — со своими, с нашими... Ваш опыт ежедневный не скучен вам? Ведь ситуации повторяются, можно даже набор их, наверное, составить?

— Это как относиться к делу. К жизни даже.
— Так как же к ней надо относиться, Зибилле?!
Она без улыбки смотрит на меня. Долго смотрит.

...Зибилле защищала диплом по методике составления характеристик на учеников в советской школе. Весь тот воронежский год она ходила по школам, сидела на уроках, дружила с детьми, пытаясь узнать, кто они, чтобы потом прочитать на них официальную характеристику и посмотреть, насколько она справедлива и как удалось узнать учителю то, что, в общем-то, ему узнать нелегко. По ее убеждению, удавалось. Характеристика включала в себя не только поведение ученика на уроке, его успехи или неуспехи, но, что очень важно, в ней делалась попытка дать характер ученика. Она, разумеется, знала, что учителя, к которым она попадала, были, конечно, лучшими, то есть попросту любящими детей и свое дело. Единственное, чего ей хотелось теперь, это побыть еще год здесь — просто походить в школу, — ей хотелось вернуть прошлое — тот год.

— Зибилле, я про ваш Воронеж... Вот так и всё — и больше вы их не видели, из той прекрасной семьи?
— Что вы!
— А я уж испугался: зачем так старательно изучать, так проникать в характер, если ничего из этого не оставить себе...
— Нет. Только что был день рождения у меня, так они приехали ко мне все из Воронежа, три подруги. Целых три, как говорят у вас. Одной даже нельзя было приезжать — она геолог, далеко... А она все равно приехала.

...Мать Зибилле и сюда приезжала. Недавно. С дочерью она навестила всех



ее друзей, посмотрела Днепр и, уезжая, сказала ей тихо: «Я жду тебя дома...»

— И что вы ей сказали, Зибилле?

Она смотрит на Днепр, у него нет берегов. Солнце сияет в его мелких волнах, перекатывая свой собственный блеск.

— Я сказала, что приеду, — медленно говорит Зибилле. — Скоро приеду, в ноябре.

г. Черкассы

Ю. СТЕПАНОВ,
наш спец. корр.

Странно сказать, но, когда газопровод будет построен, когда он будет, его, собственно, и не будет. По крайней мере его не будет видно. С землей произойдет то, что вы видите здесь на снимках: вначале она расступится, уступив ковшам экскаваторов и бульдозерам, но, расступившись, пробудет так недолго — те же ковши и бульдозеры приведут ее скоро в ее первозданный вид. То, что было пашней, станет ею, луг со временем превратится в луг, а дороги станут по-прежнему дорогами.



В

стреча эта была из тех случайностей, которые в действительности не так уж и случайны. Ну, в самом деле: я приехал в Ивано-Франковск, «столицу» пятого венгерского участка газопровода, и в тот же день с оказией — Игорь Зварич, заместитель начальника штаба ЦК ВЛКСМ на пятом участке, ехал в Хуст — перенесся через Карпаты. Тут я и познакомился с Яношем Тотом. Причем поговорить мне с ним надо было как можно скорее.

— Янош завтра уезжает, — сказали мне.

— ?

— В отпуск всего-навсего.

Я не сразу заметил в библиотеке Яноша: он стоял, видимо, у стеллажей и подошел к нам только тогда, когда его окликнули. Перед отъездом он сдавал книги, но, сдав их, невольно заинтересовался другими. Он подошел, тихо улыбнулся и внимательно слушал меня, потом слушал, как переводили. Лет ему около тридцати: чуть меньше, чуть больше. Лицо худощавое, лоб высокий, открытый. А по глазам его я понял, что



ему приходится делать усилия, чтобы слушать внимательно. Я вспомнил: ведь завтра утром он едет в отпуск, едет домой, и все то, что происходило с ним здесь, уже отошло в сторону, уже стало прошлым. В этом я убедился еще раз, когда Янош стал рассказывать о своем доме в Ньиредьхаза, о деревьях, которые растут под окнами детской. Он даже стал рисовать план своей квартиры, объясняя такие подробности: где его ребятишки прячут игрушки, где Мария хранит семейные фотографии, где он вешает зонтик.

Когда я спросил его, как ему живется на земле моей Родины, он сел в кресло поудобнее, закурил, оплел одну ногу другой и, чуточку подумав, начал свой рассказ... со своего дома.

— Расставаться с детьми и с Марией было трудно. Конечно, работать здесь выгодно: хорошие заработки. Но если бы только это интересовало нас в жизни, мы были бы самыми бедными и несчастливыми людьми... Грусть моего расставания скрашивало то обстоятельство, что в Советском Союзе я до этого не бывал. Я ехал в страну, освободившую от фашизма и нас. Сказать просто, что это помнят в Венгрии, значит, ничего не сказать. Люди моего возраста в войну были всего лишь детьми, но память передается, а с ней вместе передается и благодарность. Так я с ней уже ехал — с благодарностью этой. Ехал работать и жить к людям, которым эта благодарность и принадлежит.

Приехал я сюда в марте прошлого года и, помню, первое время после работы все ходил по городу, ездил на экскурсии и писал Марии о маленьком, чистом, приветливом городке, где мы живем, писал о Карпатах, о долине, в которой стоит Хуст. Вы заметили — она похожа на большое блюдо, по ободку которого текут Тиса и Рика. Еще писал ей о работе. Уж не знаю, интересно ли Марии было читать, как мы строим компрессорную станцию или водозаборы, но не мог же я в каждом письме

ЯНОШ ТОТ: «И если это станет для меня когда-нибудь прошлым, я буду часто оглядываться назад»

повторять одно и то же: «Скучаю по тебе, по нашим детям». Она, кажется, понимала это и постоянно спрашивала: «Почему не пишешь о новых знакомых?» Умная женщина: она знает мой характер, знает, что я трудно привыкаю к новому месту и трудно завожу новые знакомства. Не потому, что я нелюдим, а потому, что привязчивый, не люблю временных знакомств, а навсегда подружиться, думал я, получится ли? Через год закончим строительство газопровода, вернусь домой, и все?..

На соревнованиях по настольному теннису я увидел азартного человека. Играл он красиво и гораздо сильнее многих. Причем во время партии он то и дело подсказывал противнику, как правильно держать ракетку, как делать подкрутку, как принимать сильную подачу. Не портил другим настроение, поучая уму-разуму, а именно тактично подсказывал. Вроде бы странным это было на первый взгляд: зачем это делать, если хочешь выиграть и стать победителем. Тем более он был явно спортсмен, а потому выигрыш ему был важен. Но есть у благородных людей — я это тоже знал — такое качество, как жажда борьбы на равных. Мне этот человек запомнился...

Через месяц должно было быть первенство города по настольному теннису, в котором готовились участвовать двое наших ребят: кондитер Иштван Орос и его помощник Ласло Поп. Так случилось, что мне поручили договориться с тренером, чтобы он помог ребятам подготовиться: мне дали телефон и адрес, и я пошел по этому адресу. Если до этого я видел город лишь снаружи, а заходил в двери только магазинов, то в тот вечер впервые вошел в калитку палисадника. На крыльце дома встретил меня тот самый парень-теннисист... Мы познакомились: оказалось, что мы тезки. Иван по-венгерски — Янош, и Янош порусски — Иван. Я извинился и попросил Ивана, если будет время, помочь Иштвану и Ласло подготовиться к соревнованиям. Он сказал, что занятия в школе еще не закончились и потому он свободен только вечерами. (Вместе с родителями, женой и сыном он жил здесь, в Хусте, на улице Ленина, а работал учителем физкультуры в школе села Кошелево и на общественных началах тренировал хустских ребят в настольном теннисе.)

— Если вас устроят тренировки после семи вечера, я смогу помочь.

На следующий вечер он пришел в наш зал.

Я, признаться, даже и не заметил, как этот человек стал нужен мне. Виделись мы не каждый день — у него работа, семья, у меня работа. Но все-таки виделись. Он познакомил меня со своей женой, пятилетним сыном — ровесником моего. Мне нравилось бывать в их доме, посидеть на кухне, попить чаю по-домашнему. Жена Ивана женщина гостеприимная, любит угощать чаем с мятой, черничными листьями и разными вареньями. Пили чай из больших глиняных кружек. Ароматный и совсем не обжигает. Постепенно я узнал, что Иван раньше работал на керамическом заводе, теперь — учителем физкультуры в селе и одновременно учится в Тернопольском педагогическом институте. Жена его преподает швейное дело в хустском профтехучилище...

На время Янош замолчал, раскуривая новую сигарету, собираясь с мыслями. А я подумал, что сюжет получается незатейливым: то, о чем он рассказывает, довольно традиционно: познакомились на стадионе, один и тот же вид спорта, одни интересы. Или что-то еще связало венгерского прораба и русского учителя? Хотя и в этой, обычной ситуации так ли все поверхностно? И пусть друг познается в беде, но узнавать-то его вполне можно и на стадионе, не дожидаясь каких-то экстремальных обстоятельств, когда привязанность и верность надо доказывать риском. Однажды встретились и, как говорится, на всю оставшуюся жизнь? Нет, все же одного случая мало. Нужна, верно, какая-то предрасположенность людей друг к другу. А она в них самих и заключается... Так я про себя думал.

— Я не могу точно сказать, что мне нравится в человеке, — продолжал Янош, — но могу сказать определенно, что я презираю. Пьянство презираю за минутную искусственную силу и долгую тяжкую слабость; неверность слову презираю: нечего сказать — промолчи, а сказал — будь верен своему слову... Иван сказал «приду» и пришел, и приходил потом постоянно. В апреле этого года были соревнования по на-

стольному теннису нашего пятого участка газопровода. Приехали играть из Свалявы, Комсомольска, Межгорья, Богородчан. Много участников. А команда Хуста заняла первое место. Орос и Поп поделили между собой I и II места в личном первенстве. Конечно, без помощи Ивана такое бы не случилось. Он оказался хорошим тренером. Молодой еще, а уже опытный тренер. Это, наверное, потому, что он любит спорт. Я не знаю, но я так думаю. Он мечтает организовать в Хусте теннисный клуб. И уже занимается с ребятами сам. Я помню, в проекте вашей новой Конституции есть хорошие слова об обязанности заботиться о воспитании детей, растить их достойными членами общества. Я обеими руками за такую обязанность. И Иван тоже. Только он не только голосует, но уже выполняет эту обязанность. Никто его не просил, никто не поручал, сам надумал, сам занимается.

Он вообще человек увлеченный. Увлеченный жизнью, работой, спортом и, конечно, своей супругой. Я это знаю и не ошибаюсь: уж очень сердечно у них дома. Конечно, чужая семья не так ясна и понятна, как своя, но, если атмосфера добрая, это не скроешь. Да и кто ее станет скрывать!

Что я еще могу рассказать об Иване? Хорошо, что я приехал сюда, хорошо, что встретился с Иваном. И если это когда-нибудь станет для меня прошлым, я буду часто оглядываться назад... Моя Мария знает Ивана. Я писал ей о нем. Она просила прислать фотографию. Я говорил: зачем тебе фотография, верь моему сердцу, и написал ей его портрет: роста одинакового со мной, волосы черные, черные усы, бордовые тренировочные брюки и всегда ракетка в руке. А еще написал, что его знает каждый мальчишка в Хусте. И если ты, не предупредив меня, соберешься приехать ко мне и не будешь знать, где меня найти, спроси у любого мальчишки: «Где найти тренера Ивана Михайловича?» — и тебя проводят к нему. А уж он-то всегда знает, где найти меня.

Яношу надо было на час-полтора уйти в общежитие. Мы договорились, что встретимся здесь же через два часа.

Возвратясь в библиотеку в назначенное время, я увидел молодого человека в бордовых тренировочных шароварах, черные волосы, черные усы и теннисная ракетка в руке. И мальчишек не надо, чтобы спрашивать: это был Иван Михайлович. Рядом, на низком крыльце, сидел Янош Тот.

— Ну что ж, — говорю после знакомства с Иваном, — теперь партию в теннис? Сыграйте, доставьте удовольствие. Как, друзья?..

— Ни в жизнь! — отказался Янош. — Я же не играю в теннис.

— Как не играете? — удивился я.

— Не играю. Совсем не умею.

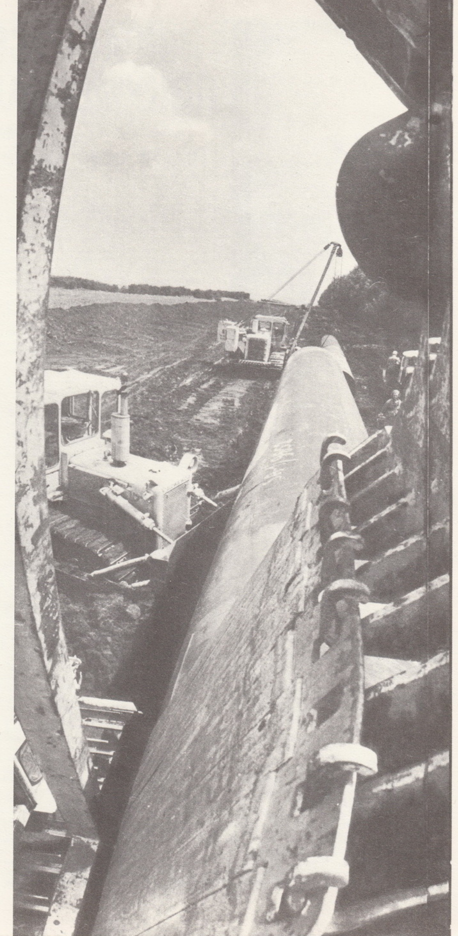
— Не умеет и учиться не хочет, — педантично, как учитель, уточнил Иван...

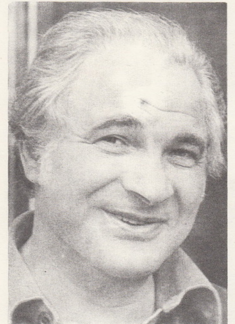
Это было неожиданно. Значит, спорт, как «общая земля», отпадал. Что же оставалось? Профессии у них разные, с языком тоже непросто... Верно, то, что каждый донес до той первой встречи; то, что у каждого было в душе: своя любовь к своему делу, своя любовь к своей семье, своя любовь к своей родине, — все то, что оба они любят, все то, что в обоих из них воспитало доброту и открытость к хорошим людям...

О. НОВОПОКРОВСКИЙ,
наш спец. корр.

г. Хуст

Фото по трассе газопровода Оренбург — Западная граница СССР выполнены для «Ровесника» корреспондентом саратовской газеты «Заря молодежи» А. Земляниченко (стр. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19); Б. Нейманом (стр. 17); В. Родионовым (стр. 4, 15); П. Старостиным (стр. 18).

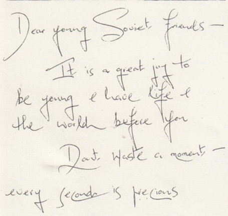




НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО,

или
Только одно желание Стэнли Формена

А. ПОЛИКОВСКИЙ



Дорогие молодые советские друзья! Это великая радость — быть молодым и иметь впереди всю жизнь и весь мир. Не теряйте ни минуты — каждая секунда дорога. С наилучшими пожеланиями, Стэнли Формен.

Я постучал, из-за двери крикнули что-то, я вошел и чуть не налетел на маленького полного человечка, который бежал мне навстречу.

— Стэнли! — бодро выкрикнул человечек и резким, мощным движением выбросил руку в мою сторону. Я подавил в себе внезапно появившееся желание отскочить и встать в боксерскую стойку и пожал протянутую руку. Рука была широкая и тяжелая. Мы прошли в комнату.

Окно было открыто, и за занавеской лежали на десять километров во все стороны разноцветные крыши, и над крышами кружили голуби.

Было утро; воздух, камень и стекло были прихвачены прохладой; река, серая и голубая, текла под мостом и плескалась о серый гранит; с прогулочного пароходика махали рукой; далеко внизу медленно, как жук, ползла машина с желтой цистерной и поливала улицу.

Секунда, четверть секунды: воздух зазвенел, как горсть серебряных монет, занавеска всплеснулась, и ветер принес в комнату запах листвы, воды и пыли — запах утренней Москвы, и Москва вдруг застыла в окне, четко очерченная, как гравюра, и далекая, будто я смотрел на нее в перевернутый бинокль, — секунда, четверть секунды, и все.

Это мгновенье, когда Москва проснулась и голуби поднялись вверх, застало человека по имени Стэнли Формен в середине комнаты, где он пододвигал кресло к журнальному столику; Стэнли Формен поставил кресло, тихо, спокойно посмотрел в окно и сказал со смешным акцентом, по слогам: «Крр-а-си-во!»

— Что будем пить? — спросил меня Стэнли Формен. — Для виски слишком рано, да? Хотите содовой? — Содовая оказалась лимонадом «Буратино», и мы, сидя с холодными стаканами в руках, начали разговор.

За день до этого я видел фильм Стэнли Формена «Виктор Хара поет». Основа фильма — документальные кадры, которые были сняты 13 июля 1973 года в Лиме, где Хара давал концерт. Эти кадры получила в 1977 году Джоан Хара и предоставила Стэнли Формену.

Артистическая публика на документальные фильмы кинофестиваля не ходила.

Артистическая публика собиралась в холле гостиницы, где круглые сутки царил одинаковый сиреневый полумрак; мужчины в белых костюмах, в замшевых куртках разговаривали о влиянии Бертолуччи на Феллини, и их холеные лица принимали скучающее выражение, когда подбежавший репортер вспыхивал блицем. Тут, в сиреневом полумраке, мелодично, как позванивание льда в бокале, звучала английская, немецкая, французская, итальянская речь. Волосы мужчин были уложены и ухожены, а затем приведены в артистический беспорядок рукой парикмахера-виртуоза; бороды были подстрижены аккуратно, как английские газоны. В креслах сидели нежнолицые женщины и курили, держа сигарету в изящно отставленной в сторону руке; женщины, надменные и красивые, как египетские статуэтки, пахли совсем не приторными духами, не мертвым запахом косметики, а чем-то чистым, свежим, хрустящим — так пахнут новые десятирублевые бумажки. А мужчины пахли попроще: кельнской водой и фруктовой жевательной резинкой.

В зале, где шли документальные фильмы, сидели мужчины с усталыми, немолодыми лицами и женщины, более похожие на учительниц, чем на голливудских кинозвезд.

У мужчин и у женщин были прищуренные, все время измеряющие пространство и предметы глаза.

Это были операторы, фотографы, документалисты — их фамилии мало что говорили, и они всю свою жизнь анонимно снимали индустриальные пейзажи, довольных наемников, сожженные деревни, загрязненную окружающую среду, голодных детей, братские могилы, разлагающиеся трупы на дорогах.

Фильм кончался так: Виктор Хара, один на сцене, в свитере и в джинсах, с гитарой в руке, говорит в зал: «Я сейчас далеко от Чили, но всей душой я со своей родной страной, и поэтому я спою вам куэку — наш национальный танец. Мы поем куэку, когда мы счастливы и когда мы грустны — в эти дни мы поем ее от всего сердца и чаще, чем всегда. Эта куэка называется «Зеленые глаза».

Виктор Хара начинает наигрывать на гитаре простенький, щемящий мотив, начинает петь:

О да, зеленые глаза,
Я умираю от любви
По девушке, чье имя
Я не могу припомнить.

Песня обрывается; пленка обрывается.

Мы можем перемотать пленку назад и услышать еще раз, как Хара поет простенькую, щемящую песенку:

О да, зеленые глаза,
Я умираю от любви
По девушке, чье имя
Я не могу припомнить.

Мы можем прослушать это сто, двести, пятьсот раз, и сто, двести, пятьсот раз пленка будет обрываться, и сто, двести, пятьсот раз нас будет удивлять и убивать такая мысль: ДА ВЕДЬ ЭТО ЕМУ, ЭТОМУ САМОМУ ХАРА — НА СТАДИОНЕ «НАСЬОНАЛЬ» — РУКИ ПРИКЛАДАМИ...

Когда фильм о Хара кончился, в темноте, пока шли титры следующего фильма, редко и недружно захлопали.

Больше в тот день никакой фильм высшей награды этого зала — редких, недружных аплодисментов — не получил.

И вот передо мной сидит маленький человечек в рубашке из джинсовой ткани, в белых курортных брюках, пьет холодный лимонад и, с любопытством посматривая в мою сторону, ждет, о чем я его спрошу.

Мне не верилось, что фильм о Хара сделал он. Он как-то легкомысленно выглядел.

Я посмотрел на его руки. Руки были широкие, тяжелые, увесистые, уверенные. Это внушало надежду.

— Я с детства хотел быть музыкантом. Я никогда не думал, что мне придется заниматься кино. Долгое время я брал уроки музыки. Я играл на пианино по нескольку часов в день.

Его руки лежали на коленях ладонями вниз. Руки пианиста? Руки хирурга?

— Когда я подрос, я вступил в британскую комсомольскую организацию. Нас интересовало, как живут и работают люди в СССР, но информации — честной информации о СССР — почти не было. Я читал книги о России и о революции — мне нравилась Вера Панова, я считал, что она очень полезный писатель. Я читал Маяковского, Блока. Блок — это...

Тут руки его пришли в движение; казалось, будто он поднимает тяжесть, и пальцы сжались в некрасивый, корявый кулак. Несколько секунд Формен подыскивал слово, и лицо у него было тоскливым, словно он сидел в приемной зубного врача; наконец руки освободились от судороги и великолепным, страстным движением взлетели вверх, над его седой головой, лицо прояснилось, и Формен сказал: «Пот-ря-са-ю-ще!»

Он с таким же успехом мог выкрикнуть любое другое слово, будь то: «От-вра-ти-тель-но!» или «Во-до-кач-ка!»; слова ничего не значили, это было просто сотрясение воздуха, фонетический пустяк; мы говорили, потому что было принято говорить, но все объясняли не слова, а его руки — руки пианиста? руки хирурга? Я стал понимать, что человек, который сделал простой, черно-белый, как жизнь и смерть, фильм о Викторе Хара, и маленький веселый человечек напротив меня — одно лицо, или, вернее, одни руки.

И я представил, как он сидит за монтажным столом и клеит пленку своими сильными, тяжелыми руками врача и музыканта.

— В 1939 году началась война, и я вступил в армию. Мой долг как комсомольца был бороться с нацизмом. Я был во Франции.

Руки его опять лежали на коленях, и было видно, что руки отяжелели, стали как свинец. (Один раз я видел, как боксер, кончив бой, не знал, куда девать руки, стянутые бинтом. Боксер прятал руки за спину, складывал на груди, махал в зал, стараясь быть общительным и милым, а потом, устав от этой стыдной, раздражающей игры, положил свои большие кулаки на колени и сидел, угрюмо смотря в пол.) Я не стал спрашивать о войне подробней. Был тридцать девятый год. Его долг как комсомольца был пойти в армию. Он был во Франции. Та война кончилась Дюнкерком. О чем было спрашивать?

— С 1939 по 1945 год я занимался антинацистской пропагандой: я служил в частях, которые вели радиопередачи на Европу, писал тексты листовок, которые потом разбрасывались с самолетов над Германией... В 1945 году я демобилизовался и вернулся в Англию. Одно время я не знал, чем заняться, и подумывал снова о музыке... Моим любимым композитором был — и есть — Шостакович... Это большой и честный мастер.

Я начал сотрудничать в обществе дружбы «Англия — СССР». Председателем общества много лет был один немолодой джентльмен, и, когда он ушел в отставку, председателем предложили стать мне. Это было неожиданное предложение. Я не имел опыта такой работы и отказывался. Сказали: ничего, опыт придет...

Информации о СССР, как и раньше, почти не было. Общество получало иногда из СССР и ГДР документальные фильмы о жизни в социалистических странах. Я писал к фильмам тексты, ездил в ГДР, сотрудничал с немецкими документалистами... Английскому безработному было, конечно, любопытно посмотреть фильмы о послевоенном строительстве в СССР, но это было так далеко от его реальной, ежедневной жизни... Мы решили, что надо делать свои фильмы. Первый такой фильм мы сняли на открытии памятника Карлу Марксу в Лондоне. Мы снимали забастовки шахтеров, мы снимали выступление Генерального секретаря Гарри Поллита, мы снимали митинги рабочих и демонстрации... Я сделал также несколько учебных фильмов. Мы не делали фильмов в расчете на специальную аудиторию — только для рабочих или только для студентов, например... Хотя, конечно, когда снимаешь фильм для европейского и американского зрителя, стараешься высказаться короче, резче, потому, что зритель привык к рекламным роликам и боевикам и любит, когда события на экране разворачиваются в темпе; если же это фильм для стран «третьего мира», где люди живут в ином ритме и воспитаны на иной культуре, стараешься сделать фильм неторопливым...

Тут зазвонил телефон, Стэнли Формен взял трубку и заговорил: «Ооо, нет, нет — немного позже — через полчаса, если вам удобно — нет, раньше не могу, у меня пресса, — сказал он весело и гордо и взглянул на меня.—Да, как вы хотите.— И вдруг, опять взглянув на меня, пропел: — Как хотите, кра-са-вица моя! — Он выговаривал русские слова с наивной, детской радостью и при этом делал рукой легкий, осторожный жест, будто у него на ладони сидел птенец и боялся взлететь, а он его подкидывал в воздух.

Потом сел, заметил, что у меня пуст стакан, вскочил, взял бутылку «Буратино» — оказалась пустой. Огорчился. Теперь мы сидели и держали в руках пустые стаканы. Я все боялся, что стакан сейчас лопнет — так он его сжимал своими сильными, гладкими пальцами, и пальцы побелели. Потом поставил стакан на журнальный столик.

— Как проходит мой обычный день в Лондоне? Я встаю рано и читаю газеты — всегда одни и те же: «Санди ньюс», «Нойес Дойчланд», «Советскую культуру» и «Морнинг стар». Я не завтракаю, только пью чай. Потом еду на работу на автобусе. Моя жена тоже уходит на работу рано утром — она врач и занимается социальной медициной... В оффисе я прежде всего просматриваю бумаги — в том числе счета за газ и электричество. Днем у меня деловые встречи с продюсерами и режиссерами; вечером я смотрю документальные фильмы.

Я спросил:

— Сейчас очень модно показывать в каждой хронике голодающих детей — знаете, опухший, с выступающими ребрами ребенок ползет на камеру, а оператор снимает долго и подробно, со вкусом. Не кажется ли вам, что оператор вполне мог бы достать бутерброды, что сделала ему жена, и накормить ребенка? И если это так, то не правы ли тогда те люди, которые говорят, что документальное кино не нужно вообще, потому что оно аполитично фиксирует, но ничего не меняет? Нужно отложить камеру, говорят они, и взять автомат — как более действенное средство изменения мира.

— Я не оператор. Я сам не снимаю.

Он сказал это просто потому, что так оно и было; он не хотел спрятаться от вопроса, а хотел сказать, что ему никогда не приходилось снимать голодного ребенка.

— Но какой смысл будет в том, что оператор накормит бутербродами одного ребенка? Оператор уедет, и ребенок на следующий день все равно умрет от голода. Но если оператор снимет то, что увидит, то тогда это увидят и тысячи людей во всем мире и смогут спасти от голода всех детей и навсегда. Оператор — это передаточный ремень между голодающими, угнетенными, несчастными и между теми, кто живет в довольстве и мог бы помочь... Шведский оператор снял 11 сентября 1973 года в Сантьяго солдат, которые стреляли в него самого. Он снял собственную смерть. Разве это была аполитичная фиксация? Разве его камера не была действенной, как оружие?

Я спросил:

— Если бы вдруг представилась возможность осуществить три ваших желания, что бы вы пожелали?

Стэнли Формен продолжал улыбаться и молчал. Его лицо не изменилось; но руки вдруг сцепились одна с другой и сдавили друг друга.

— Только одно желание! — наконец бодро закричал он. — Чтобы все люди были счастливы!

Я повторил вопрос.

Стэнли Формен перестал улыбаться, лицо его посерело, будто он вдруг почувствовал усталость, или, быть может, занавеска шевельнулась, и на его лицо легла тень; и вот, не разжимая сцепленных рук, он сказал:

— Я тогда скажу, чего я не хочу. Я не хочу ни дома, ни машины, ни иного благополучия для себя. Чего хочу? Я хочу, чтобы во мне всегда были силы отличить в искусстве талантливое от бездарного.

Во время просмотра на следующий день я сел так, чтобы видеть Стэнли Формена. Сначала шел американский рекламный фильм, потом забавная югославская мультипликация. Третьим фильмом был фильм, снятый чилийскими эмигрантами, — «Их глаза, их надежды». Фильм был смонтирован из фотокарточек чилийских детей. Фильм шел семь минут. Кроме фотокарточек, ничего показано не было. На фотографиях дети играли в футбол, переходили по бревну через ручей, учили алгебру, пели песню. Одна фотография: дети на берегу моря, и чайки над морем — повторялась несколько раз.

Во время первых двух фильмов Стэнли Формен переговаривался с переводчицей, снимал и надевал наушники и делал записи в блокноте.

Во время третьего фильма Стэнли Формен молчал и смотрел на экран, но рук его мне видно не было.

После сеанса я догнал Формена на лестнице, ведущей от кинотеатра вверх, на набережную. Ветер разлохматил его седую голову. Несмотря на маленький рост, он пытался шагать через ступеньку.

— Эй! — закричал он, увидев меня. — При-вет! — Он решительно ударил по воздуху рукой, будто делал теннисную подачу.

— Ну как? — спросил я. — Как вам понравилось?

Формен посмотрел на меня и расхохотался.

— Я не могу давать оценку фильмам, — сказал он. — Я член жюри. Э-то ведь сек-рет!

Он не стал отвечать на мой вопрос: как дать оценку жизни и смерти, перенесенным на экран без всякого художественного искажения? Понравились ли вам голодные дети? Понравились ли вам трупы на дорогах? Понравились ли вам сожженные деревни? В этом кино все по-настоящему.



«АРПИЛЬЕРЫ» — О ЗАСТЕНКАХ

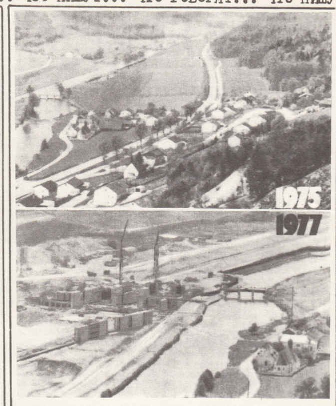
Свадьбы и крестины, игры детей и труд крестьянина — короче, хронику народной жизни воссоздают чилийские женщины на «арпильере» — ковре из грубого холста, расшитом цветной шерстью. При правительстве Альенде искусство ковровщиц, насчитывающее не одно столетие, впервые получило всенародное признание и поддержку государства. Сегодня сотни женщин ткут «арпильеры», потому что ненавидят режим Пиночета. Шерстью на холсте они пишут хронику фашизма: голодные мальчишки ждут свою порцию супа в благотворительной столовой, военный вертолет, как смерть, навис над землей Чили, очередь женщин к тюремному окошку — может быть, удастся что-нибудь узнать о сыне, муже, отце. Тот «арпильер», что вы видите на снимке, привезла в Париж Эрнестина, жена одного из тысяч жертв пиночетовской охранки. «На наших «арпильерах», — говорит она, — не только отчаяние; там и сопротивление, надежда и вера в нашу победу».

ДОСТОИНСТВО ДОСТОЙНЫХ

Что общего в облике этих двух женщин? Внешнего сходства, пожалуй, незаметно. Но в каждой из них безошибочно угадывается сильный характер. Они принадлежат к разным поколениям, но для обеих искусство неразрывно связано с борьбой за справедливость. Писательница и драматург Лилиан Хеллман (снимок слева) бросила вызов маккартизму, отказавшись давать показания комиссии по антиамериканской деятельности. Актрису Джейн Фонда видели в первых рядах маршей протеста против вьетнамской агрессии. Они, быть может, не так уж похожи внешне, но родственны по духу — именно поэтому режиссер Фред Циннеман выбрал Джейн Фонда на роль Лилиан Хеллман в биографическом фильме «Джулия», который сейчас выходит на экраны.







ПЕЙЗАЖ ДЛЯ ГЕРРА ИНСПЕКТОРА?

На верхнем снимке: так выглядел в 1975 году один из райских уголков ФРГ, долина Дуная у городка Кельхайм в Баварии; сюда на уик-энд приезжали рыболовы и родители с детьми. На нижнем снимке: так выглядит райский уголок в 1977 году. Как могло случиться, что строительные компании столь быстро и безжалостно расправились с природой? Федеральный инспектор получил от фирмы «Хассельбад» подарок — говорят, всего-навсего кинокамеру, а на местные органы самоуправления оказали нажим ультраправые баварские политики.



ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Бергамо, как едва ли не любой старинный город Италии, славится своими памятниками. Нужно было быть смелым художником, чтобы рядом с шедеврами прошлого возвести новый монумент. Но для Джакомо Манцу, выдающегося скульптора, лауреата Ленинской премии мира, это не просто памятник, а дело всей жизни. Еще в 1946 году он задумал создать композицию в память героев Сопротивления, замученных фашистами. И вот сейчас он подарил своему родному городу произведение, равного которому по силе, страстности и красоте, как утверждают критики, не было в послевоенной Италии.



ДНЕВНИК

Когда читаешь сегодня «Зеленые холмы Африки», то неизбежно испытываешь впечатление, что читаешь сказку. Даже если в Африке ты никогда не был, все равно точно знаешь, что такой Африки уже больше нет. И странно при этом все время слышать жалобы «папы» Хемингуэя — мало, как казалось ему, осталось на его долю зверья.

Теперь такую книгу, наверное, никому не написать — потому с таким интересом и читается недавно вышедший дневник Мэри Хемингуэй, жены писателя. Там те же события — охота, ночевки, разговоры, погони и засады. Там есть и первый лев Хемингуэя, и временами есть он сам.

20 декабря 1953 года он написал в дневнике своей жены: «Прошлой ночью мы решили, что не пойдем на охоту, потому что мяса у нас достаточно и мы можем посвятить день отдыху и волосам мисс Мэри; ведь скоро рождество и все, кто придет к нам, должны увидеть, как она прекрасна...»

...Это давно написанная книга, «Зеленые холмы Африки».



ПОЛИЦЕЙСКИЕ ГОВОРЯТ: БУМ!

Экономика Швейцарии испытывает все большие трудности. Безработица грозит всем: рабочим, инженерам, государственным служащим. Не грозит она только полицейским. Ряды полиции постоянно растут. Недавно в дополнение к уже имеющимся трем полицейским ведомствам: кантональной полиции, федеральной полиции, государственной полиции было создано еще одно — полиция безопасности. Полиция безопасности вооружена современным стрелковым оружием и оснащена вертолетами. Такие новшества не могли не вызвать беспокойства. Президент социал-демократической партии Швейцарии Хельмут Хубахер прокомментировал: «Эта полиция нужна, чтобы действовать против граждан, которые борются за свои права или хотят создать более прогрессивное общество».

Бизнесмены. Солдаты прозвали бывшего южновьетнамского диктатора Нгуен Као Ки «генералом полночь» — то ли за то, что он предпочитал делать вылеты по ночам, собственноручно уничтожая напалмом крестьян и их жилища, то ли за то, что, навоевавшись, он по ночам буйно пьянствовал в сайгонских ресторанах. Ки неоднократно обнародовал перед журналистами две истины: во-первых, его кумир — Гитлер; во-вторых, он государственной казны не разворовывает. При этом он не без щегольства поправлял висевший на бедре револьвер, инкрустированный перламутром. После падения сайгонского режима Ки пришлось претерпеть множество лишений: отказаться от генеральской формы, от собственного самолета и любимого револьвера. Зато он купил виллу на калифорнийском побережье США, серый с серебряным отливом «кадиллак» и винный магазин. «Собираюсь войти в американский большой бизнес, буду два часа в день стоять за прилавком, продавая мои любимые вина», — заявил он журналистам. Впрочем, мирная торговля не остудила его воинственный пыл: битый генерал прочел курс лекций в американских университетах (гонорар за лекцию 2400 долларов), в которых советовал президенту США снова послать войска во Вьетнам.

КТО ВЫ, М-Р КОРТНИ? ИМПЕРАТОР?

Можно ли в наши дни стать императором? И достаточно ли для этого только желания когорты страждущих? Вопрос, что говорить, непростой.

Американец Роберт Кортни, владелец фирмы кухонного оборудования, стал миллионером. Потом — мультимиллионером. И тут его осенило: не может быть, чтобы такая выдающаяся личность, как он, оказалась просто мистером Кортни! Что-то здесь не так. Кухонный магнат обратился к частной организации, ведущей геральдические изыскания, — нет ли среди его предков достойной фигуры, чей титул он мог бы носить? Просьба была подкреплена солидным чеком. Историки поняли намек и довольно скоро отыскали среди предков мистера Кортни итальянского графа.



«Граф — это мелочь, — отпарировал Кортни. — Продолжайте изыскания, и как следует». Историки удвоили прыть и нашли, что Кортни — прямой потомок византийских императоров! Кухонный король был удовлетворен. Отныне он повелел именовать себя Роберт С. Кортни III Великолепный, император-август. Дизайнеры создали для него подобающий наряд, в котором он запечатлен на снимке.

В первом рескрипте император-август объявил, что готов жаловать титулы и ордена «за заслуги перед Византийской империей и фирмой «Р. С. Кортни». Дело — оно прежде всего.

СНАЧАЛА БЫЛА КУКЛА

Оказывается, куклы сыграли важную роль в истории развития звукозаписи. Именно куклы первые «заговорили» голосом из фонографа. Современники Эдисона считали, что его гениальное изобретение годится разве что для игрушек, слишком уж смешны были первые записи, чудовищно искажавшие звук. Первым из певцов решился записать свой голос великий Карузо, а за ним великая Патти, которая после записи сказала: «Только теперь я понимаю, почему я «великая Патти». Первую оркестровую запись — это был «Щелкунчик» Чайковского — удалось сделать в 1908 году, первую долгоиграющую пластинку выпустили в 1948 году, первый золотой диск грамзаписи был вручен ансамблю «Битлз». Все эти факты сообщаются посетителям выставки в парижском музее Сен-Дени, приуроченной к 100-летию изобретения звукозаписи. Самый ценный ее экспонат — кукла Жюмо, подаренная Эдисоном своей внучке.





ЭЛЛЕН БЭРСТИН В ЖИЗНИ И В КИНО

Т. ГОЛЕНПОЛЬСКИЙ,
А. МЕССЕРЕР

«Система кинозвезд для американцев, — сказал известный американский кинорежиссер Питер Богданович, — это мифология XX века; она значит для них то же, что для греков значили боги». «Какая она?» — думали мы, когда ожидали одну из ведущих звезд американского кино, Эллен Бэрстин, в фойе гостиницы «Россия». Платье Сен-Лорена, духи «Мицуко-Герлена», высокомерность мифологической богини? Журналисты, как и все, подвержены гипнозу.

...По лестнице спускается женщина. Лицо ясное, с высокими скулами, можно сказать, славянского типа, ни намека на косметику. Позже, прерывая столь же необязательную, сколь условную «светскую» беседу, для «затравки» разговора она довольно резко скажет: «Настоящая актриса вовсе не размалеванная кукла и не рекламная богиня. Она трудящаяся женщина. Быть актрисой — физически трудная работа». Это было сказано точно и основательно.

Эллен Бэрстин сопровождал высокий, широкоплечий парень с угловатыми движениями подростка и с такими же, как у нее, широко расставленными глазами.

— Познакомьтесь, мой сын, Джефферсон, Джефф, — сказала она и тронула его за плечо. И сразу о деле: — Я отказала сегодня нескольким журналистам в интервью потому, что хочу посвятить этот день тому, что мне ближе всего как актрисе в русской культуре. Хочу поехать на могилу Чехова и его жены в вишневой аллее Новодевичьего кладбища. И еще — в музей Станиславского. Заодно, быть может, увижу и город. Если вы со мной — по дороге поговорим.

Мы поехали. Так как Эллен была гостем, а мы выступали в роли гидов, сначала вопросы задавала она. «А сколько в СССР театральных студий? Нельзя ли посмотреть выставку советских плакатов? Что идет на сцене московских театров? Как жаль, что МХАТ на гастролях. Мне просто необходимо посмотреть «Три сестры», я ведь сейчас играю Машу».

— В Москву, в Москву, в Москву!

— Да, это реплика моей сестры по пьесе, Ирины. Но Маша тоже все время мечтает о Москве. А я вот в Москве. — Наступила пауза, мы решили, что пришла



очередь задавать вопросы нам. И Эллен Бэрстин стала рассказывать:

— Я много читала о России, нет, не в газетах, а у ваших великих писателей и поэтов — Пушкина, Толстого, Тургенева, Достоевского. Но, пожалуй, больше всего я узнала из пьес Чехова, которые смотрела бесчисленное количество раз; ведь Чехов в США не менее популярен, чем Шекспир. Я всегда мечтала сыграть в «Трех сестрах». Увы, мы не могли себе позволить больше трех недель на репетиции — у коммерческого театра свои законы, и, если режиссер и артисты не успевают «выстреливать» постановку за короткий срок, он прогорает. Я знаю, что Станиславский репетировал со своими актерами по полгода и дольше. Но даже мы, несмотря на недостаток времени, в последние дни почувствовали то, о чем пишет Станиславский: появилась легкость и естественность в общении, мы стали как бы одной семьей Прозоровых.

На минуту останавливаемся у магазина сувениров на Октябрьской площади. Рассматриваем традиционных матрешек, и тут к нам подходит девушка-продавщица и просит у Эллен автограф.

— Я вас знаю по фильму «Алиса здесь больше не живет»!

— Я очень рада, это моя любимая роль, — говорит Эллен.

За роль Алисы Бэрстин получила высшую премию американской академии искусств — «Оскара». Большинство критиков в то время отмечали, что успех фильма был заслугой прежде всего Эллен Бэрстин, которая, как писал журнал «Тайм», даже в условиях традиционного голливудского хэппи-энда сумела сохранить свежесть правды. Для американского кинематографа образ Алисы был событием. Традиционный стереотип женщины в американской массовой культуре всегда носил отпечаток «товара». Он должен был быть красивым, и желательно в яркой упаковке. Женщина, желающая работать, — объект для шуток консервативной Америки. Как это «хранительница очага» посмела оставить дом! И «Алиса» был одним из первых фильмов, который наиболее остро поставил этот вопрос.

— Разумеется, фильм «Алиса здесь больше не живет» прежде всего связан с движением за раскрепощение женщин, — комментирует Эллен Бэрстин. — Алиса болезненно сознает, что всю жизнь была тенью мужа, и, оказавшись вдовой в 35 лет, в первый момент чувствует себя совершенно беспомощной. Но она хочет стать независимой, стать личностью. Поверьте, для сегодняшних американок это действительно злоба дня. Быть может, это для вас забавно звучит, но движение за женское равноправие в последнее время захватило и Голливуд, один из истинных оплотов безраздельной мужской власти. Еще несколько лет назад трудно себе было даже представить в Голливуде женщину — режиссера или продюсера. А сегодня женщины завоевывают и эти чисто «мужские» профессии. Я лично сама надеюсь стать режиссером, и мне удалось подписать контракт с фирмой «Парамаунт» в качестве постановщика фильма. Что ж, побывать в Москве, на родине Станиславского перед боевым крещением — это так нелишне.

Эллен была ужасно огорчена — музей Станиславского оказался закрытым на ремонт — и не пыталась скрыть это. Со Станиславским Бэрстин связывает, пожалуй, самое важное в своей артистической жизни. Поначалу она снималась в Голливуде во второразрядных коммерческих фильмах

и в рекламных телероликах. Так бы, может, все и шло, но вот она уехала в Нью-Йорк в знаменитую студию Ли Страсберга, из которой вышли такие выдающиеся актеры, как Род Стайгер, Марлон Брандо. Там Бэрстин училась работать над ролью по системе Станиславского, и это помогло ей по-иному увидеть себя и роли, которые она может и хочет сыграть.

— Я стала строже относиться к выбору ролей. От большинства предложений приходится отказываться: прочитав сценарий, вижу — люди в нем пустые, сказать им нечего, они просто плывут по течению.

Меня же прежде всего интересуют образы женщин с сильными характерами, которые говорят зрителю то, что я бы хотела ему сказать сама. Я отнюдь не стремлюсь выбирать «голубые» роли, или роли женщин, к которым легко почувствовать симпатию. Меня привлекают образы сложные и многоплановые — и чем сложнее, тем лучше. Вот недавно я закончила сниматься в фильме Жюля Десена «Новая Медея». Пусть и новая, но это Медея, мать, убивающая своих детей, мать, осужденная на пожизненное страдание. Это был трудный для меня выбор. Я знала, что должна найти в себе какое-то сочувствие к этой страшной женщине, пережить и понять ее душевные муки, хотя все мое существо восставало против нее. Как актриса я счастлива, что приняла этот вызов.

— А чем тогда для вас был «Экзорсист»?

Надо сказать, мы давно хотели задать этот вопрос, но боялись показаться бестактными. Дело в том, что вокруг этого фильма в свое время бушевало немало страстей. С одной стороны, он был одной из самых кассовых лент, с другой — это фильм, который трудно назвать гуманным, его натурализм, жестокость вызвали возмущение многих серьезных критиков и особенно родителей.

— Мне ужасно хотелось сняться в фильме у Фридкина, которого я считаю очень талантливым режиссером.

— Настолько сильно, что вы согласились сыграть в откровенно коммерческом боевике?

Глаза Эллен вдруг стали острыми и холодными. Наступило молчание, от которого нам, по правде сказать, сделалось неловко. Первой заговорила Эллен:

— Я сыграла в «Экзорсисте» роль матери, в общем благородной женщины, в которой ничего отталкивающего нет... Когда в Голливуде решили снимать продолжение фильма «Экзорсист-2», я отказалась. Джефф тоже был против.

Думаем, что все обстояло не так просто. В условиях Голливуда актриса, даже такая незаурядная, как Бэрстин, не может позволить, чтобы о ней забыли. Нередко приходится поступаться принципами для того, чтобы снова оказаться в центре внимания.

Разговаривая с нами, Эллен Бэрстин то и дело взглядом искала поддержки у сына, и видно было, что его мнение имело для нее немалое значение. Вообще нам сразу бросилось в глаза, что Бэрстин с сыном были во многом единомышленники и держались как товарищи. Наш разговор вернулся снова к фильму «Алиса здесь больше не живет», к одной из его важных тем: родители и дети.

— Меня подкупает в «Алисе», что мать абсолютно естественна с сыном, не пытается изображать из себя натуру идеальную, не требует, чтобы сын во всем слепо подчинялся ей. Алиса не сдерживает слезы, когда чувствует себя несчастной, она может выйти из себя. Но в то же время она с юмором воспринимает жизнь, и поэтому им так хорошо бывает вместе.

— А ваши отношения с сыном, похожи ли они на те, что мы видим в «Алисе»?

— Ну так прямо говорить нельзя. Во-первых, Джефф старше, ему уже пятнадцать, правда, все думают, что ему больше. Он уже у нас режиссер, снимает свои фильмы. Впрочем, первый фильм ты снял, когда тебе было девять, правда?

— Да, но это были пустяки. Между прочим, одна из сцен в «Алисе» прямо как у нас дома. Помнишь, мы с тобой тоже обливались водой!

— Вообще мы с Джеффом понимаем друг друга, да, сын? — улыбается Эллен. — Он знает, что мне нелегко, понимает мои проблемы, а я его. Насколько типичны наши отношения с Джеффом? Трудно сказать. Сын рассказывал мне, что в его классе многие мальчишки боятся родителей, никогда ни о чем им не рассказывают. Даже когда попадают в беду, стараются скрыть это от семьи.

По мнению Бэрстин, проблема непонимания между поколениями остается одной из самых острых в США. Хотя есть надежда на лучшее, ведь молодые люди бурных 60-х годов сами сегодня становятся папами и мамами.

— Я тоже чувствую различия между поколениями, не правда ли, Джефф? Например, мне трудно воспринимать современную музыку так, как воспринимаешь ее ты. С трудом привыкаю к рок-музыке, хотя Джефф подробно объясняет мне все тонкости звучания электроинструментов, всевозможные эффекты, достигаемые при звукозаписи.

Наша машина миновала университет на Ленинских горах, и мы проезжали по району новостроек. Джефф погрузился в свои мысли и вдруг спросил по-русски: «Мы сидим, а как сказать: «я сидю» или как?..» Оказалось, Джефф изучает русский в школе и в Москве не теряет времени даром. «Почему во всем мире строят одинаковые дома?» — спросил он, глядя в окно.

А Эллен заметила:

— Меня вот поражает в Москве отсутствие этих страшных контрастов, которые видишь у нас: нищета гетто и роскошные дома в фешенебельных кварталах. Это наша серьезная проблема.

Время обеда. Мы возвращаемся в «Россию». К нашему столику подошли журналисты из США, Болгарии и Франции. Экспансивная американка, из тех, что пишут обо всех и для всех, сообщила, что уже месяц гоняется за Эллен Бэрстин из Греции в Западный Берлин, транзитом через Португалию в Москву, и поэтому требовала права первого вопроса. Очаровательную болгарку волновало, выйдет ли «Ровесник» раньше ее журнала «Лик», ведь «Ровесник» в Болгарии читают очень многие. «А что она сказала, что она сказала?» — суетился возле нас фотограф, обвешанный фотоаппаратами всех калибров.

— Ваш последний, вышедший на экраны фильм сделал Ален Рене, — констатировал француз. — Говорят, с ним нелегко работать, как складывались ваши отношения?

— Со мной тоже нелегко работать, — парировала Эллен Бэрстин. — Однако у меня есть принцип. Я много работаю с режиссером до начала съемки, мы обсуждаем сценарий, обмениваемся идеями. Когда же я выхожу на площадку, то главное для меня — раскрыть образ, как я его понимаю, чувствую. Вообще я предпочитаю самостоятельность.

— Может, поэтому вы сами решили стать режиссером? — вставляем мы.

— Может быть.

— А у кого из европейских режиссеров вы еще хотели бы сняться? — спрашивает болгарка.

— У Ларисы Шепитько, — без колебаний отвечает Бэрстин. — Ее фильм «Восхождение» прекрасен. Он так отличается от многочисленных западных лент, где герои замкнуты, отчуждены от зрителя. Мне доставило большую радость вручить Ларисе Шепитько «Гран-при» Западноберлинского фестиваля — Золотого медведя. Шепитько для меня идеал женщины и режиссера.

— Зачем нужны фестивали? — спросил кто-то из вновь прибывшего подкрепления журналистов.

— По-моему, фестивали помогают в обмене культурными ценностями, чтобы люди лучше понимали друг друга. В последнее время я была на фестивалях в Индии, Иране, Западном Берлине и вот сейчас в Москве. Мне удалось посмотреть много хороших фильмов, которые я не могла бы посмотреть в США, и встретиться с очень интересными людьми. Девиз вашего фестиваля мне особенно близок.

Мы расстаемся с Эллен Бэрстин, чтобы через три часа встретиться с ней вновь во внеконкурсном фильме Алена Рене «Провидение». Гаснет свет, и на экране появляются изысканно-изощренные кадры фильма. Заседание суда. Панорама лиц, и перед нами кинозвезда: костюм Сен-Лорена, высокомерность мифологической богини и, наверное, духи «Мицуко-Герлена». Это Эллен Бэрстин. Не в жизни, а в кино.

Главный редактор А. А. НОДИЯ

Редакционная коллегия: В. Л. АРТЕМОВ, С. М. ГОЛЯКОВ, И. В. ГОРЕЛОВ (зам. главного редактора), О. А. ГОРЧАКОВ, Ю. А. ГОРЯЧЕВ, В. В. ГРИГОРЬЕВ, М. А. ДРОБЫШЕВ, В. П. МОШНЯГА, Д. М. ПРОШУНИНА (ответственный секретарь), Б. А. СЕНЬКИН

Художественный редактор О. С. Александрова
Оформление М. М. Ракитнина
Технический редактор З. А. Ходос

Адрес редакции: Москва, 103104, Спиридоньевский пер., 5. Телефон 290-36-55. Рукописи не возвращаются.
Перепечатка материалов разрешается только со ссылкой на журнал.
Сдано в набор 18/VIII 1977 г. Подп. к печати 19/IX 1977 г. А06668. Формат 60×90 1/8. Печ. л. 3 (усл. 3). Уч.-изд. л. 5,7. Тираж 470 000 экз. Цена 25 коп. Заказ 1514.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сущевская ул., 21.

3-20



Стихи, которые вы здесь прочтете, Антар Судан Катара Мбери посвятил 60-летию Великого Октября и прислал специально для читателей «Ровесника». С творчеством этого американского писателя, поэта и политического деятеля (Антар Мбери — коммунист, член ЦК Союза молодых рабочих за освобождение, Национальный координатор XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов) вы уже могли познакомиться в предыдущем номере (№ 9/77) «Ровесника». Перевел стихи молодой московский переводчик Андрей Хвостов.

ВАШЕМУ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ

Раньше ныла тупым штыком
бедность в спине бедняка,
пока не забрезжил далекий свет,
свет твой издалека.

Страна пшеницы, могучих рек,
мы видим твои цветы,
их красный цвет в дорогу зовет,
ведущую из темноты.

О! Ты родилась в революции
рабочих — твоих сыновей,
их кровь твое знамя окрасила
и сделала землю светлей!

И день за днем, за шагом шаг
к новым стройкам и новым огням
за Лениным шла ты, чудо-страна,
как в бурю корабль идет к берегам.

Он вел тебя твердой рукою,
все отдавая детям своим,
весь мир призывал, отбросив сомненья,
к свободе, счастью идти за ним.

Сейчас, в этот славный, праздничный год,
мы помним героев, что пали в пути.
Они погибли, чтоб детям было
легче вперед идти.

Несешь величаво пятнадцать роз,
пятнадцать звезд в венке своем,
и видит поэт: героев кровь
в них, как и прежде, пылает огнем.

И слышится Ленина голос простой:
«Смотрите, братья: правда живет!
Настанет день, и ваша земля
красным цветком расцветет!»

Индекс 70781
Цена 25 коп.